

**"БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!"**

**К 100-летию со дня рождения
В.А. Каверина (1902-1984)**

**СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ
КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»**

*К 100-летию со дня рождения В.А. Каверина
(1902-1989)*

**МОСКВА
ACADEMIA
2002**

ББК 84 P2-4

К 11

К11 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». К 100-летию со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989). Сборник статей. Составитель В.Д. Оскоцкий. – М: «Academia», 2002, 110 с.

ББК 84 P2-4

ISBN 5—875341—39—3

© *Издательство «Academia», 2002*

*Издательство «ACADEMIA» — «Раидеву-АМ»
129272, г.Москва, Олимпийский просп., д.30
ЛП № 065494 от 31.10.97*

Подписано в печать 1 декабря 2002 г.

Формат 60х90 / 16. Печ.л. 7

Бумага офсетная № 1 (65г.). Печать офсетная.

Тираж – 500 экз. Заказ № 482

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ
140010, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 403

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя.....	4
Приветствие Комитета по культуре Псковской области Союзу писателей Москвы.....	6
Приветствие Конгресса интеллигенции Российской Федерации участникам «Каверинских чтений» в Пскове.....	6
<i>Сергей Филатов</i> . «И оставаться самим собой...».....	7
<i>Юрий Черниченко</i> . Про «Картошку» и Каверина.....	9
<i>Василь Быков</i> . Поборник истины.....	12
<i>В. Новиков</i> . Он выполнил свой план.....	13
<i>Андрей Арьев</i> . По большому счету.....	18
<i>Валентин Оскоцкий</i> . Заветы и уроки.....	24
<i>В. Твардовская</i> . В.А.Каверин в «Новом мире» Твардовского.....	47
<i>Алексей Гелейн</i> . Выживать и жить.....	53
<i>Ольга Новикова</i> . Каверин и женщины.....	56
<i>Нина Катерли</i> . Учитель.....	58
<i>Владимир Савченко</i> . Евангелие от Каверина.....	60
<i>Михаил Синельников</i> . Чувство чести.....	62
<i>Наталья Зейфман</i> . Любовь к двум капитанам.....	70
<i>Анна Смирнова</i> . «Внутреннее состояние человека...».....	79
<i>Николай Каверин</i> . Несколько случаев из жизни отца.....	82
<i>Лиза Новикова</i> . 100 лет капитанства.....	87
Приветствие творческой группы мюзикла «Норд-Ост» Союзу писателей Москвы.....	89
<i>Марина Шимадина</i> . Вениамин Каверин установил рекорд года.....	90
<i>Дарья Моргунова</i> . Мюзикл «Норд-Ост» – новое прочтение романа «Два капитана».....	90
<i>Александр Лобачев</i> . «Два капитана» в духовной истории нашего Отечества.....	97
<i>Геннадий Руденко</i> . «Два капитана» в моей жизни.....	99
<i>Наталья Волкова</i> . Его имени.....	101
<i>Натан Левин</i> . Перспективы увековечения памяти.....	105
Музею – быть?.....	108

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

19 апреля с.г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося мастера русской прозы Вениамина Александровича Каверина (1902-1989). Демократическая печать отозвалась на знаменательную дату рядом публикаций, посвященных жизни и творчеству, литературному наследию автора знаменитого романа «Два капитана», сыгравшего уникальную роль в духовном формировании нескольких поколений. И продолжающего оставаться одной из тех вершинных книг, которые, не устаревая, не тускнея с течением лет и десятилетий, не отошли в минувший XX век, а стали достоянием и наступившего XXI века.

Приходится, к сожалению, оговариваться: 100-летие со дня рождения писателя отметила только демократическая печать. Патриотистские издания от «Советской России» и «Завтра» до «Дня литературы» и «Московского литератора» предпочли не заметить этой даты. Что делать: патриотизм национал-большевистского толка принципиально избирателен, строго дозирован, он высокомерно разделяет наследие отечественной культуры на «наше» и «не наше», причем в «не нашем» оказываются таланты, отсекаемые и по национальному признаку...

100-летию со дня рождения В. Каверина был посвящен литературный вечер, организованный Союзом писателей Москвы, Клубом писателей Центрального Дома литераторов, Конгрессом интеллигенции Российской Федерации, Министерством культуры РФ. Он состоялся 16 апреля в Большом зале Центрального Дома Литераторов под председательством Юрия Черниченко. Со словом о В. Каверине, историко-литературном значении и неслабеющем современном звучании его творчества выступили Мариэтта Чудакова, Ольга Новикова, доктор исторических наук Валентина Твардовская, Михаил Синельников, Алексей Гелейн, сын писателя, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Николай Каверин, академик Гарри Абелев, капитан I ранга Геннадий Руденко. Была показана видеозапись творческого вечера В. Каверина на телестудии «Останкино», снятая в 1987 году в связи с 85-летием писателя. Отрывки из прозы В. Каверина читал Валерий Золотухин, стихи поэтов «каверинского круга» – Андрей Молотков. Артистка Анна Смирнова,

рассказав о встрече с писателем, показала фрагмент из поставленного и исполненного ею моноспектакля по роману «Перед зеркалом». По традиции В. Каверина, любившего включать в свои творческие вечера классическую музыку, программа литературного вечера в ЦДЛ предусмотрела концертные выступления народной артистки Грузии Маргариты Чхеидзе (фортепьяно) и Артема Ортиянца (скрипка). По просьбе Сергея Филатова, находившегося в отъезде, его слово о В. Каверине зачитала Татьяна Кузовлева. Были зачитаны также присланные к вечеру воспоминания Василя Быкова и Нины Катерли, приветствия Главного командования Военно-морского флота, администрации Псковской области, творческой группы мюзикла «Норд-Ост» (по роману «Два капитана»).

Союз писателей Москвы принял активное участие в юбилейных мероприятиях, проведенных 23-24 апреля на родине писателя в Пскове. В областной научной библиотеке под председательством Валентина Курбатова прошли четвертые «Каверинские чтения». Их открыл председатель Комитета по культуре Псковской области Александр Далышев. С докладами и сообщениями выступили директор областной детской библиотеки им. В.А. Каверина Наталья Волкова, Валентин Оскоцкий, Владимир Новиков, Александр Чудаков, Ольга Новикова, Николай Каверин, PR-менеджер мюзикла «Норд-Ост» Дарья Моргунова, петербуржцы Андрей Арьев и Борис Аверин, псковичи Александр Лобачев и Натан Левин.

В областной детской библиотеке прошла презентация Музея романа «Два капитана». Студенты Псковского государственного педагогического института подготовили устный выпуск альманаха «Открытая книга».

Мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения В. Каверина, проведены и в Петербурге, городе, где писатель жил и работал в довоенные годы и где разворачивается действие многих его романов, повестей, рассказов, воспоминаний.

Сборник, предлагаемый вниманию читателей, включает разноплановые – научные, литературно-критические, публицистические, мемуарные, информационные материалы вечера в ЦДЛ, «Каверинских чтений» в Пскове, «круглого стола» на тему «Наследие В. Каверина и современность» в журнале «Вопросы литературы», а также статьи и воспоминания как публиковавшиеся в печати, так и написанные специально по просьбе составителя.

Москва, Союз писателей Москвы.

Приветствую участников юбилейного вечера, посвященного 100-летию со дня рождения Вениамина Александровича Каверина. Родина писателя, прославленная в его замечательных произведениях, свято хранит память о нем. Вместе с вами готовы дальше работать по приобщению новых поколений россиян к творчеству писателя.

*Председатель Комитета по культуре Псковской области
А.И. ГОЛЫШЕВ*

КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участникам «Каверинских чтений» в Пскове

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Конгресс интеллигенции Российской Федерации приветствует участников чтений, посвященных 100-летию со дня рождения замечательного русского писателя Вениамина Александровича Каверина.

Имя автора «Двух капитанов», «Исполнения желаний», «Открытой книги», «Освещенных окон» и многих других талантливых произведений, оставивших глубокий след в душах читателей разных возрастов, по праву занимает достойное место в отечественной литературе.

Секрет востребованности творчества Каверина в наши дни, с их размытой оценкой подлинного и мнимого в литературе и в жизни, заключается в предельной правдивости повествования, в притягательной романтизации мужественных героев и женственных героинь, в непримиримости к подлости и ханжеству. А главное – в утверждении нравственной силы, способной распрямить человека, вывести его через все испытания к намеченной цели, помочь определить новые вехи поиска. Ставший хрестоматийным девиз каверинских героев «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» остается доныне ярким нравственным ориентиром для нас и наших детей, сплачивая поколения россиян – в единую нацию.

Нам представляется исключительно важной инициатива проведения каверинских чтений, продолжающих в современных условиях начатый писателем разговор о благородстве, порядочности, истинном патриотизме. Содержательную насыщенность этого разговора определяет незаурядный масштаб писательской личности Вениамина Александровича Каверина.

Хочется верить, что «Каверинские чтения» не пройдут незамеченными читающей и пишущей Россией, затронут лучшие струны в сердцах наших сограждан, активизируют интерес к настоящей литературе.

Успехов вам в вашей благородной работе!

*Сергей ФИЛАТОВ, Председатель Совета Конгресса
интеллигенции РФ, член Союза писателей Москвы
Даниил ГРАНИН, Сопредседатель Совета Конгресса
интеллигенции РФ*

Сергей ФИЛАТОВ

«И ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ...»

В плеяде писателей XX века Вениамин Каверин занимает, пожалуй, одно из достойнейших мест. И во многом благодаря тому, что произведения его, написанные в пору жесткого идеологического диктата в науке, литературе и искусстве, все же каким-то чудом сохранили и пронесли в себе чистоту авторской интонации и несуетную вдумчивость жизненной позиции писателя. Созданное им отличают необыкновенная человечность и высокая нравственность. Каверин никогда не торопился прямолинейно выносить приговор тем или иным свойствам человеческой природы – он подводил читателя к мысли о сути порядочности и бесчестья неторопливо, осторожно и максимально тактично.

Потому и любые переоценки ценностей, происходящие сегодня на переломах развития общества, оставляют за Кавериним неоспоримое право считаться писателем подлинным. Совестьливым. Не лукавым. Не конъюнктурным. Это общественное признание дорогого стоит.

Вспомним, несколько поколений некогда огромной страны выросли и входили в жизнь, овеванные романтикой «Двух капитанов». Слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» стали на долгие годы девизом для

тех, кто дорожит честью и честностью и для кого справедливость и гуманность – естественные мотивы поступков и поведения. В «Двух капитанах», с их, казалось бы, простым раскладом на героев и антигероев, нравственно то, что находится на стороне добра, – вера в справедливость и поиск ее, правдивость, порядочность, сострадание, мужество. Зло – всегда безнравственно, потому что держится на лжи, жестокости, подлости и трусости. И в поединке двух этих начал добро обречено на победу, нравственность – на утверждение в человеческих душах, а зло – на вечное наше презрение и безоговорочное осуждение...

Вообще тема нравственности – основа многих романов, повестей и рассказов Вениамина Каверина. Взаимосвязь науки и нравственности, поступающая в тех же «Двух капитанах», предстает перед читателем еще более полнозвучно в «Открытой книге» и «Двойном портрете». Конфликт двух этих категорий, как и проблема нравственности в искусстве, в литературе, на войне («Освещенные окна», «Ученик Тициана»...), становятся лакмусовой бумажкой в нашем восприятии окружающих людей, личных и общественных отношений. Так в жизни всегда с остротой обсуждаются отношения человека и власти, народа и власти. Не случайно именно эти – общенравственные – аспекты каверинского творчества сближают его с Даниилом Граниным, Борисом Васильевым, Григорием Баклановым, Василем Быковым – с писателями, которые особенно в последние годы стали духовными наставниками отечественной интеллигенции.

Многие болевые точки нашей жизни отмечаются и высвечиваются писательским словом. Для интеллигенции нравственность – не только непременное условие собственной внутренней гармонии, но и критерий оценки диалога и взаимодействия с общественными институтами и, прежде всего, с правящими структурами.

Тяжесть тоталитарного периода жизни СССР и России для писательской интеллигенции состояла в том, что власти того периода нужны были опричники, с помощью которых можно разделываться с неудобными и неудобными для нее талантами. И таких бесталанных опричников было достаточно, чтобы отравить жизнь Б. Пастернаку, А. Твардовскому, К. Паустовскому, А. Солженицыну и многим другим. Тогда время разделило Союз писателей на два смертельно враждующих лагеря – писателей и карателей. Вениамин Александрович Каверин в те дни проявил себя и как настоящий писатель, и как гражданин. Он точно заметил: «Писатель, накидывающий петлю на шею другому писателю, – фигура, которая останется в истории литературы независимо от того, что написал первый, и в полной зависимости от того, что написал второй»... Он обрушивается и на доносчиков, в кляузах которых, «было все – и расчет на невежество, и мнимая правдивость подробностей, и страшная логика кривды, почти непонятная, но бьющая в самое сердце».

К сожалению, многое в писательском мире в России остается на прежних позициях и в стане бывших опричников, стремящихся всеми силами

влезть в систему власти, и в стане писателей, полностью посвятивших себя творчеству и озабоченных тем, чтобы не допустить возврата прежнего режима с его карательным произволом. Может быть, именно поэтому демократически настроенные писатели так упорно ищут диалога с властью, пытаются всеми силами участвовать в создании демократического общества, обеспечении свобод и прав человека и, прежде всего, свободы слова, свободы печати, свободы вероисповедания.

Нравственность власти – ее правдивость и открытость – вот то, что тревожит и заботит интеллигенцию России, равно принявшую и демократическую направленность преобразований, и исповедальные заветы Вениамина Каверина – «Быть честным, не притворяться, стараться говорить правду и оставаться самим собой в самых сложных обстоятельствах...» Думается, любой политик, находящийся сегодня во власти, должен носить эти слова у сердца. Следовать им – непросто. Но в них – залог нашего движения к духовному совершенству и процветанию страны. В них – кредо порядочности и общей культуры личности. В них – сокровенная суть того масштабного явления в литературе и жизни, имя которому – **ВЕНИАМИН КАВЕРИН**.

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО

ПРО «КАРТОШКУ» И КАВЕРИНА

Глухая пора листопада, год 1977, Переделкино.

Жду первого номера журнала за семьдесят восьмой: «Наш современник» ставит мой опус «Про картошку». Всего-то открытия, что два процента частной (усадебной) пашни дают половину (и больше даже!) продовольствия СССР, что самопрокорм советского гражданина есть его сверхурочная забота-работа. Ан вёрстка гуляет по рукам, письменникам интересно.

Вдруг передают: меня приглашает к себе Каверин. А я-то ни на одной из писательских дач не бывал, разве утренние пробежки по «авеню Парвеню», а так – закрытая книга. От общей нашей редакторши по «Совпису» Зои Владимировны Одинцовой знаю, что к Вениамину Каверину редакторы сами ездят со своими замечаниями, а тот методично отвергает те замечания. Как хорошо быть классиком ... Третий год, как меня с треском вышибли из «Правды», и к литературному способу прокорма привыкать нелегко.

Но какая временная даль! Словно приглашает Батюшков. Или назначил встречу Бестужев-Марлинский. «Серапионовы братья» с их отторжением всякой «тенденции», тем более «социально-политической», никак

не могли нравиться «Тварду» и «Новому миру» вообще, и сложности в отношениях первого журнала шестидесятников с Кавериним доходили и до меня. Деление на своих и чужих (на новомировцев и «октябристов»), остро приправленное государственным антисемитством, уже прорыло внутренний ров, но Вениамин Каверин – словно над схваткой. Он уже как бы госимущество Страны Советов: принадлежит эре энтузиастов, как фильм «Семеро смелых» или чкаловский самолёт. С довоенного тридцать восьмого, когда отец принёс мне «Двух капитанов», минуло, наверно, десять моих жизней.

Однако, отловив вёрстку «Картошки», несущую по адресу. Дело, видимо, в ней: пошла молва...

Участок зарос подлеском, явно неухожен, да и дачка не больно-то – одноэтажная, скромная. И в комнатах очень просто: так мог бы жить книголюбивый отставник...

Вениамину Александровичу уже 75. Он представляет меня жене, сестре Юрия Тынянова, тоже псковича происхождением. (У меня к автору «Вазир-мухтара» и «Кижэ» – влечение, род недуга, чем дальше, тем сильнее). Тынянов – как бы старший в этой семье. Его культ не скрывают, он и пенат-наставник, и судья, и брат.

Усаживают ужинать. Боже, хек мороженный серебристый. Даже в беззарплатные годы я в такой аскетизм не впадал. Но тут, видать, это норма: всеозно-столовский хек есть можно и должно, не затрудняя себя добыванием, пища просто не достойна трат времени и сил.

Словно опережая расспросы, Вениамин Александрович прогоняет касету своего сегодняшнего бытия на скорости. Возраст вынуждает считаться, он пишет только по два часа, дальше усталость – гулять, читать, предаваться мемориям.

Участок раньше чистил, как умел, Николай Алексеевич – после алтайской ссылки он жил у Кавериных в избушке. (Речь шла о Заболоцком). Посаженный по «делу Николая Тихонова», поэт в лагере из обрывка газеты узнал, что патетичный Николай Семенович не только не взят, а находится в политзенице, в номенклатурной славе. Но Заболоцкому – в смысле управляемости – ни срок лагерный, ни кулундинская ссылка на пользу не пошли. Вызывали в Союз по поводу Пастернака (демонстрировать *гнев и возмущение*). Николай Алексеевич доходил до электрички, отсиживался в станционном буфете, подгружался как следует – и устало шествовал назад, в Каверинскую баньку. Его послушность Перedelкино видело? И довольно.

Меня переводили в иную геологическую эру...

По тому же «делу Тихонова» *комитет глубокого бурения* в свой час взялся разрабатывать и Каверина. Следовательно являл детальное знание: где-когда вышел такой-то том, кто был редактором переиздания и т. д. «Я впервые встречаю такого знатока своего литературного пути. Вы по диплому филолог?» – удивлялся В.А. – «Вы разговариваете с чекистом», –

устало отвернулся следователь. Кадры особого склада. Сверхлюди. Холдная голова, чистые руки, горячее сердце и прочая мифология.

Реальный следователь Н.И. Вавилова, вставляю я, по имени А.Г. Хват каждый из сотен допросов начинал ритуально. «Ты кто такой?» – «Академик Вавилов». – «Мешок с говном ты, а не академик». Такое гораздо ближе к социальному стержню. В.А. отвечал, что сами эти «сверхчеловеки» слой за слоем исчезали в своей же мясорубке.

– Я плохой еврей, – покаянно и задумчиво говорил Каверин. – Брат Лев был евреем гораздо лучше меня...

Старший брат Вениамина Александровича академик АМН Лев Зильбер, знаменитый иммунолог и лауреат, воевал с энцефалитом, – это я знал. Но про его отношения с тотальным юдофобством не слыхал ничего...

Впрочем, андроповская власть на Лубянке оживила травлю писателей, почти гласные сотрудники ГБ были внедрены в аппарат Союза писателей и практически не таили своей роли. «Союз против писателей» – словцо Каверина гуляло в литсреде. В который раз за долгую жизнь Вениамин Каверин ощущал возвратную волну политических расправ. Вслед за Пастернаком в Переделкино охотились на квартиранта Чуковских – Солженицына. Последний, по рассказу В.А., гулять выходил с вилами-тройчатками – чтоб *не сдаваться*, уж точно по кличу «Двух капитанов» ... Наступала распадная пора трилогии Брежнева, лизоблюдства журналов, присяжных льстецов уровня Феликса Кузнецова и т.д.

Каверин прочёл мою «Картошку» (снятую, кстати, аппаратом ЦК КПСС) и оставил её без комментариев. Литературой это писание не было. В.А. принадлежал писательству до мозга костей. Но дорожка к заросшей даче сохранилась для меня открытой.

Не романтик Марлинский – живой и здравый в оценках, неподкупный в суждениях и поступках мужчина редкой провинциально-русской интеллигентности примкнул к моим сторонникам в осадной войне с Агрогулагом. Бесконечно далёкий от советской деревни, статистики, колхозных реальностей, но трезвый и мужественный человек, пристально вглядывающийся в прожитое собой время ... Ему было важно, чтоб не рвалась связь времен – его личного и уже не его, но в котором его бы читали.

Сейчас думаю о миллионах тонн испечатанной бумаги, доставшихся «самому читающему народу» после краха большевистского эксперимента. Миллиарды печатных листов от Румянцевской библиотеки до книгохранилищ Нюксеницы, Чердыни, Турочака, Тотьмы и иных градусов всё ещё пространной Руси тяжким весом давят на менталитет и самооценку гражданина, чей герб – царский, гимн – сталинский, а вера... чего нет, того нет. Что делать с этой беллетризированной пропагандой (на 99 процентов это именно так)? Не про книжные костры я, не дай Бог так беса тешить – из одного социального любопытства. Ну, Зюганову, видать, близок политкаюк, большевизм перельётся в какую-нибудь социал-демократию, с мавзолеем проблема тоже решится: не всё же поддерживать древнеегипетс-

кий культ мумий. Но что делать с противокультурной расовой (классовой) ненавистью типа – «А с попом и кулаком / та ж беседа: / в брюхо толстое штыком / мироеда»...? Все эти пухлые уговоры радоваться колхозному рабству, все «Кавалеры Золотой Звезды» и павленковские «Счастья» – они ж и загружают в основном полки десятков тысяч библиотек! Многотомники Марковых, Софроновых, Кочетовых, и прочих корифеев соцреализма – как обезвредить эти трюмы ВКП(б)-КПСС? Химические бомбы-снаряды, положим, потрошат, атомные отходы как-то перерабатывают, а с идейной-то отравой?

Скорее всего, будет так: уже родившиеся люди XXI века в сугубо человековедческих целях упакууют – ради памяти и извлечения опыта – навязчивую проповедь классовой борьбы и продукцию «министерств правды» в микрозаписи невиданных ещё дискеток. Тем самым цвет соцреализма «тленья убежит».

А для прямого потребления грядущим поколениям будут отделены и сберегута какие-то сотни книг – маргинальные сочинения эры соцреализма. Брак эпохи, так сказать.

Среди таковых наверняка останутся книги «плохого еврея» Вениамина Зильбера – человека честных правил и замечательного русского писателя Вениамина Александровича Каверина.

Василь БЫКОВ

ПОБОРНИК ИСТИНЫ

Мое знакомство с Вениамином Кавериним, как и многих из моего поколения, состоялось еще до Великой войны, конечно, по его замечательной книге «Два капитана». Уже тогда его имя, мужественные образы романа запали в юношескую душу, раскрывая перед ней незнакомый и привлекательный мир настоящего и прошедшего, ненавязчиво формируя читательский, а затем и писательский вкус.

Личная встреча случилась позднее, на юге, когда я однажды увидел его на ялтинском пляже выходящим из моря после продолжительного и красивого заплыва. Это было не удивительно – Каверин любил море. Наверное, море также любило его.

Но, пожалуй, больше, чем море, он любил истину, всегда дефицитную в нашем тоталитарном мире, где она была презренною падчерицей. И если в молодости еще можно было как-то обходиться без нее, то в старости надобность в ней становилась неотложной. Вся сущность Каверина, человека и писателя, протестовала против царивших в стране насилия и

несправедливости. Во время длительных поношений моих повестей, печатавшихся в «Новом мире», он одним из первых прислал мне слова понимания и поддержки. Для меня, молодого белорусского писателя, услышать их от старшего русского коллеги было радостно и утешительно. В последующие годы я также старался поддержать его, когда в том назревала потребность во время кампаний глумления над его исполненным истинного благородства талантом.

Наши встречи в последние годы его жизни случались нечасто, общение обычно состояло в обмене письмами по какому-то конкретному поводу. Кажется, он редко отлучался из любимого им Переделкина, стараясь надолго не отрываться от неширокого круга близких ему людей. Но он писал до последних дней. Письма его вселяли в меня чувство нашей правоты, были полны добра и справедливости.

Может быть, это главное, что оставил в человеческих душах этот большой русский писатель, честный и благородный человек.

С благодарностью за него и содеянное им я буду помнить его всегда.

Вл. НОВИКОВ

ОН ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ПЛАН

Каверин не был Героем Социалистического Труда. Жалеть об этом, конечно, не приходится: звание довольно абсурдное, а само словосочетание – неотъемлемый элемент тоталитарного новояза. Пусть ветераны, удостоенные сего титула, доносят золотые звезды с серпами и молотами, пусть отгордятся свое, но в истории человечества выражение «социалистический труд» останется в итоге как обозначение весьма сложного способа, при помощи которого крупнейшую и богатейшую в мире страну удалось превратить в экономически отсталую.

Для справки: в 1984 году Каверин получил орден Ленина, в составе большой группы литераторов и в связи с юбилеем Союза писателей. Но между этой наградой и званием Героя Социалистического Труда пролегла дьявольская разница: звезду «Серп и молот» получали в то время только те литераторы, которые сознательно пошли на нравственно-гражданскую низость, публично осудив либо Солженицына, либо Сахарова, либо обоих. Каверин же, как известно, названных правдолюбцев, наоборот, защищал. В таких оттенках литературно-политической конъюнктуры необходимо будет четко разбираться историкам советской цивилизации.

Но Каверина вполне можно назвать просто героем труда – так, как Марина Цветаева именовала Валерия Брюсова. Труда вдохновенного, ос-

мысленного и прочувствованного, сочетающего творческую изобретательность с культурной оснащённостью, а тактическую гибкость с масштабной и ясной стратегией. Труды, сами принципы которого обусловлены широкой русской литературной традицией XIX – XX веков: на ее фоне «советский период» видится довольно узкой полосой, хотя и трагически мучительной – как для писателей, так и для читателей.

Вообще говоря, мне представляются исторически бесперспективными нынешние вяло-ползучие попытки реабилитировать слово «советский», отмыть его от циничной лжи, составляющей самую суть «советскости», от несправедливо пролитой крови миллионов людей. Не вижу возможности отыскать в этом слове хоть какие-то положительные коннотации. И не считаю справедливым огульно именовать «русскими советскими» всех писателей, живших в СССР и писавших на русском языке. Именно так был обозван Каверин в канун своего столетия в перечне знаменательных дат, опубликованном газетой «Правда». При жизни писателя этот печатный орган его не жаловал, а сейчас просто спекулирует на уважаемом имени.

К более тонкой интеллектуальной комбинации прибег, выступая на «Каверинских чтениях» в Пскове, Валентин Курбатов, сказавший, что Каверин прививал розу классической традиции к советскому дичку. Приятно было услышать реминисценцию из Ходасевича, тем более что тот был близок Каверину, озаглавившему свой любимый роман так же, как называется самое известное стихотворение поэта – «Перед зеркалом». (И Ходасевич, как это можно видеть по опубликованной в его четырехтомнике переписке, высоко отзывался о Каверине, в частности о романе «Художник неизвестен»). Но не будем, однако, забывать, что из «советского дичка» в реальности вырос ядовитый анчар, душивший в культуре все живое, сделавший само имя Ходасевича неупоминаемым в течение целого полувека.

Как относился сам Каверин к эпитету «советский»? Вспоминаются его устные рассказы, связанные с посещением крупного идеологического чиновника Поликарпова – того самого, которому Сталин сказал легендарную фразу: «Других писателей у меня нет». Каверин к сему деятелю приходил, конечно же, только для того, чтобы похлопотать о других, в частности о Заболоцком. Со смехом рассказывал Вениамин Александрович, как до него случайно донесся вопрос Поликарпова, обращенный к секретарше: «Ну что, собрались писульки?» (таково было у него интимное именование писателей). Когда же Каверин получил аудиенцию у Поликарпова, тот встретил его словами: «Я вижу в вас одного из создателей советской литературы, а значит, и советского государства». Естественно, Каверин воспроизводил эту формулу не с пафосом, а с издевкой, как явный бред и абсурд.

Конечно, к слову «советский» многие честные и вольнодумные литераторы порой вынуждены были прибегать как к своего рода камуфляжу – для того, чтобы пробить какие-то публикации, защитить дорогие им име-

на. Мне вспомнился сейчас Дмитрий Сергеевич Лихачев (с ним Каверин дружил и переписывался), произносящий с телеэкрана задушевым голосом: «А ведь Пушкин – это советский писатель». Ясно, что это делалось с целью доказать современность Пушкина, отстоять какие-то издания и мероприятия. Старый эзк Лихачев знал, как надо говорить с «гражданином начальником», чтобы перехитрить того, одурачить и в результате помочь угнетенной культуре. Но принимать подобное за чистую монету, право же, не стоит.

Не любил Каверин советскую власть, и она его тоже. Вынуждена была считаться с его авторитетом, пыталась использовать романтику «Двух капитанов» в своих целях, но, в общем, всегда считала этого писателя чужаком. После «хулиганской» речи Каверина на втором писательском съезде, когда, получив трибуну, он тут же высказался в защиту Тынянова и Булгакова, – его уже не приглашали выступать на ответственных форумах. В состав правления СП СССР он впервые вошел только в 1986 году, меньше чем за три года до кончины. Хочу обратить внимание и на такой красноречивый факт. Выходила в застойные годы красивая книжная серия в пятидесяти томах – «Библиотека мировой литературы для детей». Есть там даже Бондарев с какой-то отнюдь не детской вещью, но ни «Двух капитанов», ни каких-либо других произведений Каверина нет. Где только можно было – обходили его вниманием, обносили лаврами. Однако, в отличие от многих честолюбиво-обидчивых коллег, Каверин отлично умел все это игнорировать.

Отнюдь не мирный диалог Каверина с властью достаточно полно изображен в «Эпилоге», проблема эта рассмотрена Валентином Оскоцким, к докладу которого мне хочется только добавить вопрос: «Можно ли считать *такого* писателя советским?» Ответ слишком предсказуем. Убедительным было и выступление на «Каверинских чтениях» историка Александра Лобачева, составителя «Псковской энциклопедии», обратившего внимание на полное отсутствие в «Двух капитанах» патриотической риторики, казалось бы, обязательной в то время и щедро представленной в творчестве, например, Гайдара.

«У меня не политическая голова, у меня литературная голова» – любил повторять Каверин чью-то фразу, сказанную еще в дореволюционное время. И его пример показывает, что иметь на плечах «литературную голову» порой достаточно, чтобы отстоять свою личность и уберечь свои произведения от уродливых политических деформаций. Но «литературная голова» нужна еще и для решения чисто творческих, эстетических задач. И здесь опыт Каверина может быть чрезвычайно поучителен для нынешнего литератора любого возраста и стажа.

На протяжении своего более чем шестидесятилетнего писательского пути Каверин то и дело пробовал, рисковал, осваивал новые тематические пласты, экспериментировал с жанровыми формами, варьировал сти-

листику. Отталкивание от самого себя было для него главным источником творческой энергии. Именно эту доминанту его литературной работы стремились мы с Ольгой Новиковой продемонстрировать в своей книге «В. Каверин. Критический очерк». Книга вышла в 1986 году, а дана была в издательство еще в 1983-м (таков был тогда «нормальный» цикл прохождения!). Кстати, мы совершенно спокойно обошлись на всем протяжении почти трехсотстраничного текста без эпитета «советский»: он фигурирует только в издательской аннотации и в названии издательства «Советский писатель» на титуле. Чередуя сочетания «русская литература» и «отечественная литература», вводили мы Каверина в адекватный ему контекст. Но это к слову.

Обратим внимания на один из пассажей из каверинской речи на втором съезде писателей: «Я вижу литературу, в которой молодые и старые не устают учиться и учиться. Маяковский говорил: «Не беда, если моя новая вещь хуже предыдущей; беда, если она на нее похожа». Где это говорил Маяковский, сейчас не припомню, да и не в нем дело. Суть в проблеме «похожести» или «непохожести» произведений одного и того же автора. Каверин сумел пройти весь круг творческих возможностей, сделать в литературной игре множество ставок, закинуть крючки на разных читателей – и собрать весомый улов.

Для одного Каверин – автор культового, говоря по-нынешнему, романа «Два капитана», продолжающего свою жизнь и благодаря прочной сюжетной конструкции, и благодаря авторской ориентации на вечные и общечеловеческие ценности. Вот уж где никакой «вторичности»! Наоборот, за Кавериным пошли многие, и сегодня уже невооруженным глазом видно, насколько, скажем, образ Саши Панкратова в «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова обязан «архетипической» фигуре Сани Григорьева. Для меня же лично многозначно-символический сюжет этого романа связан не столько с полярниками, сколько с нашей профессией, и в борьбе Сани Григорьева за репутацию капитана Татаринова я вижу ответ многолетней каверинской борьбы за признание литературных и научных заслуг Тынянова. Мне довелось вместе с Кавериным выпустить в 1988 году книгу о нашем общем «капитане» – «Новое зрение», и сейчас я ощущаю себя ответственным за адекватную рецепцию тыняновских идей, до которой пока не ближе, чем до Северного полюса.

Для других Каверин – автор филологического романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», открывшего новую прозаическую «нишу» (не стану повторять сказанного на страницах «Нового мира», 1999, № 10). При всей неоднозначности отношения Каверина к Шкловскому образ Некрылова – это образ филологического гения, а роман в целом – уникальная фиксация высшей точки в развитии мирового теоретического литературоведения. К «Скандалисту» сейчас присматриваются филологи новой генерации, подумывающие о создании подробного к нему комментария. Не за горами столетие ОПОЯЗа, и самый первый роман Каверина

еще может пережить вторую молодость. (Кстати, в 2001 году таллиннский исследователь Олег Костанди защитил интересную диссертацию о раннем творчестве Каверина, за этим, полагаю, грядет новая волна интереса к «брату Алхимику» и другим серапионовым братьям.)

Третьи ценят женские характеры, явленные в «Открытой книге» и романе «Перед зеркалом». Четвертые очарованы сказочной книгой Каверина «Ночной Сторож»: мне доводилось говорить с молодыми людьми, для которых «Сын стекольщика» и «Немухинские музыканты» стоят в одном ряду с Винни-Пухом Милна и Заходера и с «Алисой» Кэрролла и Высоцкого.

А кто-то выше всего ставят автобиографические «Освещенные окна» и мемуарную прозу Каверина. Кстати, невозможно представить настоящего литератора и филолога, который, независимо от своих вкусовых пристрастий не прочитал хотя бы одного произведения этого автора. Да и вообще человек, совсем не знающий текстов Каверина, – это заведомый невежда. По сути, Каверин достиг стопроцентного охвата грамотного и мало-мальски развитого населения. Это ли не заветная мечта каждого пишущего?

Взглянем теперь с этой точки зрения на «литературное сегодня». Вроде бы столько у нас «живых классиков», немало и авторитетных писателей среднего возраста. Уровень письма довольно высок, блеск культуры слепит глаза. Но многие ли могут преподнести сюрприз, выкинуть неожиданный номер, шагнуть в сторону от себя прежнего? Нет, про абсолютное большинство представителей нашего литературного истеблишмента можно уверенно предположить: их новые вещи будут похожи на прежние, эти писатели всегда героически готовы писать одно и то же, одно и то же...

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Вот Виктор Ерофеев, которого Каверин считал перспективным прозаиком, о чем довольно дерзко заявил на страницах «Вопросов литературы» в 1987 году, в анкете, приуроченной к годовщине революции, когда речь еще велась об успехах и задачах советской литературы. Далеко ли ушел с тех пор Ерофеев от привычной для него анально-генитальной тематики и образности?

Или Виктория Токарева. Сколько она уже написала почти не отличимых друг от друга рассказов и повестей, умеренно ироничных, умеренно сентиментальных! Повтор за повтором, а лучшие произведения писательницы – в далеком прошлом.

Возьмем более крупного мастера – Бориса Екимова, рассказчика, неутомимого в разработке материала, которым он компетентно владеет. Сельская жизнь, нелегкий быт Волгоградской области отражены им с исчерпывающей полнотой. Но можно ли говорить о картине мира в екимовском творчестве, о художественной концепции человека? Да нет, в метафизические глубины писатель почему-то не входит, предпочитая двигаться по привычной горизонтали.

Такая предсказуемость творческого движения (слово «развитие» тут, увы, неуместно) – одна из главных причин падения читательского (да и критического) интереса к текущей словесности. Ведь про близкого мне во многих отношениях Валерия Попова я заранее знаю, что и в следующей повести он вновь опишет тяготы писательской жизни, свои последние поездки и скромные приключения, в очередной раз увековечит всех родственников. А симпатичный мне Евгений Попов снова будет пародировать советскую риторику, выстраивая остроумную, но уже знакомую мозаику из невыдуманных баск, газетных цитат, житейских афоризмов. А что думают оба замечательных Попова о грядущих собраниях своих сочинений? Желательно ведь, чтобы разные тома отличались не только порядковыми номерами...

Рядом с Кавериним всегда хотелось писать. Причем писать по-новому, выходя в неведомые литературные широты. Не случайно, что среди исследователей, собравшихся этой весной на родине писателя, были три филолога, которых общение с Кавериним в итоге подтолкнуло к сочинению романов. Сначала на эту рискованную стезю ступила Ольга Новикова, потом Александр Павлович Чудаков и автор этих строк. Полагаю, что каждый по-своему перенял у Каверина и *figuro scribendi*, и пафос «капитанства» – сохранения и развития в советских условиях интеллигентских ценностей, созданных в дореволюционную эпоху.

Каверин и теперь открыт для творческих контактов. Его восемь синих томов вступили в полосу нешумного, но надежного бессмертия. Это аккумулятор, от которого всегда можно подзарядиться энергией литературного изобретательства.

Андрей АРЬЕВ

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ

Это был в чистом виде эксперимент на выживание. И срок судьба-прохиндейка отмерила подходящий – 66 лет. Ровно столько не унывал ее упрямый собеседник в нашей литературе. Судите сами: 1923 год, Петроград, издана первая книга, «Мастера и подмастерья», номенклатура окончательно расставила своих вивисекторов по лабораториям нового искусства; 1989 год, Москва, подписана к печати последняя – «Эпилог». Название, что называется, конгениальное. Многим ли дольше всепобеждающее учение кромсало отечественную словесность?

И вот именно и исключительно в этот кромешный для культуры период писались и доходили до читателя исполненные прямого душевного

благородства книги Вениамина Александровича Каверина. Их ненавистная дерзновенность коренилась в духовном облике писателя, чей интимный образ так или иначе вырастает за любыми художественными творениями в любые времена. В каверинском на диво параллельном мире господствует «ощущение чистоты, соединяющееся с полной душевной занятостью». Его и старался передать читателю автор, – вполне осознанно, как, например, в наиболее им самим ценимом романе «Перед зеркалом». «Ведь уже протопоп Аввакум знал, что жизнь человека, проводящего годы в одной комнате (или даже в яме), не менее содержательна, чем любая другая», – утверждал Каверин в частном письме. Это означает, что внутренний мир творца сильнее его внешних подобий.

Противоречия, которыми живо творчество любого настоящего художника, в случае Каверина определены ходом самой русской истории. Под звездочкой историзма размещены и те примечания, что Каверин вписал на обгаренные страницы нашей культуры XX века. Особенно во второй половине жизни он любил работать непосредственно с документами, насыщал ими свои книги, и последняя из них должна была сложиться из непосредственных свидетельств о нашем прошлом. И, что особенно для Каверина важно, – о прошлом нашей интеллигенции, отразившемся в ее же производствах зеркалах.

Кто тут был крив – зеркала или сама интеллигенция – вот в чем вопрос.

Русскую интеллигенцию чаще всего обвиняют в двух взаимоисключающих грехах – в оторванности от народа, во-первых, и в разрушении национальных основ жизни, во-вторых. Не ясно ли, что люди, оторванные от народа, далекие от него, сколько-нибудь значительного исторического переворота совершить бы не смогли. Не лучше ли признать, что интеллигенция как раз и выразила коренные анархо-утопические народные чаяния, запечатлела их в образе и слове? И та ее часть, что революцией соблазнилась, соблазнилась ею в равной с народом мере и степени – как наркотиком, как оловянной кружкой спирта, которым расплачивались с Александром Блоком за его службу в советском театре.

Нет никакого сомнения, что Каверин вполне органически вошел в ту прослойку, которая и сплотилась в «советскую интеллигенцию», никак не грезившую по Аввакумовой яме. Это еще хорошо, что принявшие революцию Каверин и его друзья по ОПОЯЗу и «Серрапионовым братьям» особенной политической активности не проявили, занимались обоснованием теории нового искусства, а не нового государства. История для этих профессионалов всяческого новаторства осталась прежде всего историей культуры. И следовательно, их идеология рано или поздно должна была прорасти корнями в идеологию Просвещения.

Революция есть контрреволюция Просвещения. При всех революционных рывках из себя не вырвешься. Более насущной задачи, чем, меняясь, никому и ничему не изменять, оставаться самим собой, в жизни пореволю-

ционного художника не оказалось. Именно эту внутреннюю коллизию Каверин осознал и признал, в конце концов, главной – с мало кому доступной в его поколении открытостью.

«...Я инстинктивно стремлюсь (и всегда стремился) к задаче Просвещения, и не моя вина, что из этого до сих пор ничего не выходит. Положение даже ухудшилось за последние шестьдесят лет, – писал Каверин в 1985 году. – Но идол Просвещения всегда будет стоять перед глазами подлинных литераторов». Точно так же, как никогда не отрицавшийся писателем «революционный взлет двадцатых годов», по его выражению из неопубликованной и произнесенной речи на писательском съезде 1967 года, направленной в защиту Солженицына, в свой черед эту революцию отвергшего.

Когда смотришь на писательский путь длиной в несколько десятилетий, проясняется внутренняя сущность загадки, предложенной художнику бытием. Редко она решается в одночасье, в минуту озарения. Во всяком случае, Каверин разгадывал ее шаг за шагом, от книги к книге. Интуиция вела его от изображения сложной замкнутости жизни к рассказу о ее открытой и мудрой простоте. Это не поэтическая фраза, что бытие раскрывается тогда, когда с него стираются «случайные черты». Художественно закономерным парадоксом эволюции писателя явилось то, что в молодости, когда Каверин никаким опытом, кроме личного, не обладал, он находился от себя дальше, чем в семидесятые годы, годы создания романа «Перед зеркалом» и «Эпилога», сознательно наполненных исключительно «чужим» материалом.

Каверин начал поиски истины из романтического далека, с восторга: «Все прекрасное и редко и трудно». Но суждены ему были и открытия не менее существенные. Перефразируя Пастернака (его и Солженицына Вениамин Александрович считал самыми непостижимыми из встреченных в зрелые годы творческих личностей), Каверин сказал о книге своего литературного собрата: «Он написал ее, чтобы показать, что истина – рядом, на земле, под ногами, и что для того, чтобы ее найти, надо только наклониться».

Когда-то, начиная литературный путь, Каверин со всем пылом молодости заявил: «Из русских писателей я больше всего люблю Гофмана и Стивенсона». Через полвека он мог бы свой парадокс заключить не менее энергично: «А из западных – Герцена».

С таким представлением о своей литературной эволюции писатель не только был согласен, но даже заметил как-то, что если писать о нем книгу, то аннотацию к ней можно было бы свободно ограничить двумя подобными суждениями. Оставаясь самим собой, от юношеского «языка остранения» он все настойчивее обращался к герценовскому «языку мысли».

Лихие сюжетные перипетии, так волновавшие Каверина в молодости, потребовали от него в итоге глубоко нравственного их обоснования. При том, что условия ставившихся писателем сюжетных задач оставались еди-

ными и в ранних книгах, таких как «Скандалист» или «Художник неизвестен», и в принесших ему славу «Двух капитанах», и в «Открытой книге», и в «Двойном портрете», и в «Перед зеркалом»... Завязан их конфликт на неизменном противостоянии персонажей, сумевших сберечь в себе пыл молодости, и тех, кто вытравил его из души без остатка.

У Каверина молодость сама в себе несет всеобъемлющую полноту, исчерпывающую бытие персонажей. Их опыт, интеллект суть атрибуты непрерывно развивающейся юности, Затопляющее зрелость половодье юности можно представить себе сюжетной метафорой всей каверинской прозы.

Как знать, что в этом разливе живительнее – источники «рядом, на земле, под ногами», стремительные ручьи подтаявших историософских ледников?..

Если художественную философию писателя можно хотя бы отчасти объяснить простыми обстоятельствами его биографии, то пренебрегать этим никак не стоит.

В случае Каверина обращает на себя внимание предопределенность его положения в дружественном ему литературном кругу. Он всегда был в нем младшим – младшим среди серапионов, младшим среди опоязовцев, младшим среди почитаемых им современников, даже в тех случаях, когда они, как Добычин или Шварц, литературный стаж имели по сравнению с ним никудышный. Для всех них он был розовощекиим Веничкой, играющим в их взрослые игры. Но вот именно свою розовощекость он и решил отстоять – среди всех этих гениев. Ему, в сущности, было уже все равно – являлись ли они таковыми на самом деле или только притворялись. В играх со взрослыми он поставил на самый надежный из возможных способов их посрамить: на упрямство. И он их всех переупрямил. Да вдобавок переупрямил еще и всю советскую литературную власть.

Так из упрямства он написал первый роман «Скандалист» – в пику Шкловскому, утверждавшему невозможность романа и смеявшемуся над Веничкой, в то время как тот буквально ходил за ним всюду по пятам, изучая и провоцируя будущего персонажа. И роман получился на славу: Шкловскому десятилетиями пришлось от него отфыркиваться.

Мне кажется, лучше других об эволюции и самого Каверина, и отношения к нему его друзей поведал несравненный и несносный наблюдатель Евгений Шварц, близко знавший Веничку с начала двадцатых. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать кое-что из дневников художника, знавшего наслаждение – «писать с природы»:

«Веня Каверин, самый младший из молодых <...>. Он был всегда ясен. И доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье. Он <...> писал повести – принципиально сюжетные, вне быта. И все – одинаково ровно и ясно. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. <...> Его зна-

ния не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. <...> Бог послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссейную дорогу, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. <...> Каверин был хорош потому еще, что верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы, и ревниво косятся на соседа-бедняка. Для Каверина это было просто невозможно. Мы часто отводили душу, браня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, в то время как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом. Нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Но у Вирты жизнь сложилась еще удачней, а кто видел от него хоть каплю добра? Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг поняли – жизнь показала, время подтвердило: Каверин благородно, простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом».

Образ куда как выразительный. Хоти как раз в своей кристальной ясности – весьма условный, не свободный из-за чрезмерной простоты и доходчивости от, увы, живучих предрассудков советского времени. Вот уж приучили писателей подлаживаться под так называемую «жизнь»! Тому же умнейшему Шварцу и в голову не приходит, что его собственные «сказки» – жанр в XX веке суперкнижный, не идущий в этом отношении ни в какое сравнение с традиционными приемами каверинской беллетристики. Да и в содержательном плане: что лучше всего вошло в массовое сознание из каверинской прозы? Конечно, девиз «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» То есть выражение, имеющее самое что ни на есть «книжные» истоки – эпитафию с могилы исследователя Антарктиды Роберта Скотта. (Сообщу здесь, кстати, что вполне банальное название моих юбилейных заметок – «По большому счету» – приобретет не совсем тривиальный смысл, если докопаться до его книжного источника. В словаре «Крылатых слов» Ашукиных о нем говорится: «Впервые в литературе это выражение встречается в романе В.А. Каверина «Исполнение желаний», 1935 г.».)

Так что смысл сущностной претензии Шварца к эстетической позиций Каверина – «что прочел, было для него материалом, что увидел, – не было», – как это ни странно, вполне доктринерский, неотличимый от расхожих претензий адептов соцреализма. Книжна в первую очередь продукция авторов, расчетливо или по наивности принявших за органическую суть искусства господствующие в данную эпоху эстетические схемы и предписания. Книжность в дурном смысле есть порождение антикультурное,

отхожий продукт серийной словесности. Новаторские схемы и предписания ОПОЯЗа для Каверина все же были живительнее догм обласканного «реализма». Что же касается «отражения жизни» самой по себе, то для кого ее больше в Публичной библиотеке, для кого – на Красной площади, для кого – на свалке...

Как автора интеллигентного и книжного Каверина выдают с головой культурная резкость, но никогда не грубость художественного почерка, его изящная беллетристическая вязь. Невнятному и хаотическому «отражению жизни» писатель и на самом деле противопоставил культурное строительство по четко выраженному индивидуальному проекту. И осуществил его, дойдя до известных столпов. «Мне стало ясно, – написал он по зрелом размышлении, – что, всецело отдавшись прозе в конце двадцатых годов, я остался историком литературы» В этой фразе надо подчеркнуть слово «историком»

И вот еще какую тонкую струну задел Шварц: у Каверина нет «пристального» взгляда на близких, так как занят он преимущественно самим собой. Сказано это, конечно, с долей иронии по отношению к обладателям подобного взгляда, смягчению нравов отнюдь не способствующего. Но как быть художником, ничего кругом не замечая? Постановка вопроса опять же несколько праздная, И Каверин не зря приводил в пример Аввакума: чтобы неординарно мыслить и высказываться, творцу вполне достаточно собственной пожизненной ямы.

Шварц – и это последнее – опасался, что Каверин путешествует не вокруг своей ямы, а катит по асфальтированной дорожке в светлое окололитературное будущее. Досаждало ему то, что его многолетний приятель не оказался «гением», каковыми были многие его «заклятые друзья», вроде Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Даниила Хармса... «Судьба их в большинстве случаев трагична. И возле прямой-прямой асфальтированной Вениной дорожки смотреть на них было странно <...> смотрели гости на него, на Каверина, без осуждения, как на представителя другого вида, с которым и счетов у них не может быть».

Теперь вот и посмотрим, видел ли что-нибудь в своих друзьях Каверин, какими глазами взглянул на того же Евгения Шварца: «Он был добр без оговорок, честен без скидок на любые обстоятельства и благороден, как дети, еще не знающие, что такое добро и зло». И все – больше никаких личностей, никаких наблюдений.

То же о Заболоцком: «Мы были друзьями. Это не была полная, окончательная откровенность, та близость, при которой между друзьями нет и не может быть никаких тайн. Между нами была известная сдержанность, может быть, потому, что я инстинктивно чувствовал в нем эту черту. Он был человеком глубокой мысли и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Все выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действия, свершения...»

И именно никого и ничего не замечавший Вениамин Александрович Каверин, как мало кто другой, помог в самые драматические минуты их жизни тому же Заболоцкому, тому же Зощенко, выступал в защиту Синявского и Даниэля, не говоря уж о бесчисленном количестве молодых литераторов, поддержанных им в смутные семидесятые – восьмидесятые годы. Многим обязана ему и становившаяся на ноги новая редакция «Звезды» – в переломный для судьбы журнала конец восьмидесятых...

Каверин считал, что к истории каждой человеческой жизни приложен таинственный ключ, открывающий в ней то, что отличает данную личность от остальных, озаряя ее мгновенным, ослепительным и безжалостным светом. Задача художника, не зарясь на чужой, найти свой собственный. Профессия писателя не только «накладывает отпечаток» на его личную жизнь – она изменяет и направляет ее течение, с неумолимой последовательностью раскрывая его человеческую биографию, его судьбу. Литература для Каверина – это высокое ремесло, работа, захватившая его в юности и ставшая судьбой. В ней нет выходных, потому что вся она – праздник, и это праздничное отношение к своему делу, не исчезнувшее у писателя с годами, отзывалось особой светлой тональностью на всем, что он создал, и даже на том, что не успел до конца воплотить.

С.-Петербург

Валентин ОСКОЦКИЙ

ЗАВЕТЫ И УРОКИ

«В свод законов творчества входит требование чести и мужества, достоинства и благородства»

В. Каверин. «Вечерний день»

Две статьи на одну тему? Вернее будет сказать – два состыкованных аспекта, две взаимосвязанные грани одной темы, рассмотренной по преимуществу в первом случае в публицистическом, а во втором в историко-литературном и литературно-критическом ключе. Каждый подход определялся составом аудитории, на которую были ориентированы доклады, положенные в основу той и другой статьи. А также – спецификой газетного и журнального изданий, для которых эти статьи, не повторяющие одна другую, изначально предназначались...

І. ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ? НИКАК!..

Пятнадцать лет назад по просьбе Вениамина Александровича Каверина мне посчастливилось вести его творческий вечер, приуроченный к 85-летию писателя. Незадолго до начала я стал свидетелем забавно примечательной сцены.

– Скажите, как вы намерены перестраиваться? – настойчиво допытывалась у юбиляра бойкая тележурналистка, завершая интервью. Напомню: тогда, в 1987 году, слово «перестройка» так прочно вошло в повседневный лексический обиход, что к месту и не к месту звучало ритуальной притчей во языцех.

– Да никак! – незамедлительно отпарировал юбиляр. И, уловив, что поверг смущенную интервьюершу в шок, разъяснил равнодушно, будто нехотя:

– Как писал всю жизнь, так и буду писать...

В самом деле: В. Каверин из тех писателей, кому не пришлось да и не было надобности что-то пересматривать в себе и своем творчестве, что-то менять, переписывать заново, от чего-то отказываться, отрекаться. Как не было нужды перекраивать себя на новый «перестроечный» лад Василию Быкову, как не пришлось бы, доживи они до 70-летия советской власти, делать это Владимиру Тендрякову или Юрию Трифонову. (Ограничусь именами, наиболее часто и всегда уважительно упоминаемыми в письмах и дневниках В. Каверина, его статьях и воспоминаниях).

В чем и как мог или должен был «перестраиваться» писатель, которого еще рапповские идеологи трубно громили «за буржуазное реставраторство, за формализм, мещанский индивидуализм, за «самооборону против марксизма», за «враждебность революционной эпохе», за идеологию саботажа)?. Убойный ярлык безродного космополита-антипатриота, по счастью, не пристал к нему, но первый роман трилогии «Открытая книга» шельмовался как раз на мутном антисемитском пике этой «борьбы»...

Незачем было «перестраиваться» писателю, видевшему в «методе социалистического реализма» некое подобие флогистону – материи огня, «с помощью которой сперва алхимики, а потом химики объясняли многочисленные явления», пока Лавуазье не доказал, что таковой не существует. «Впрочем, – оговаривался В. Каверин, – от социалистического реализма теория флогистона отличалась тем, что в течение целого столетия она гипотетически связывала обширный круг явлений. Она побуждала к поискам, интенсивно участвуя в развитии науки. Соцреализм сыграл как раз обратную роль в развитии искусства» и не благодаря, а вопреки ему «мы получили поразивший весь мир своей выстраданной силой роман Булгакова “Мастер и Маргарита”»...

Аналогично тому, как в историко-литературном словаре В. Каверина не находилось места соцреализму, так в урок и укор нынешним великодержавным патриотистам, и не помышлявшим перестраивать свое коле-

нопреклоненное почитание «великого и мудрого», в художественном мире писателя не было места и «демону с сухонькой ручкой, которому удалось расглотить нравственность двухсотмиллионного народа»...

Не «доперестроечная» переменчивость погодных колебаний «вместе с линией», а постоянство разнотематических, разностилевых, разножанровых, но неизменно целеустремленных художественных исканий всегда отличала без малого 70-летний творческий путь В. Каверина. И неизменность на этом пути нравственных ориентиров – незыблемых, не замутняемых директивными установками и конъюнктурными поветриями.

То и другое органично слилось в книге «Эпилог» – первой посмертной книге В. Каверина, которой он не дождался, но которую успел увидеть в верстке. И которая внушительно подтвердила: для того, чтобы во всеулышание заявить о своем выборе на стороне новой демократической России, писателю потребовалось не «перестраиваться», а всего лишь издать эту книгу, написанную в начале 70-х. На излете «развитого социализма», когда зловещая «печать немоты» лежала «на событиях, уродливо перестроивших весь нравственный строй или утопивших его в болоте равнодушия и цинизма. Обдуманная фальсификация истории остро и болезненно отражается на развитии искусства», и «за железным занавесом немоты» по-прежнему остаются Платонов, Булгаков, Пастернак, Цветаева, Ахматова, другие мастера и творцы, которых писатель называл «мучениками и гениями русской культуры», чьи рукописи действительно не горят. Но не горят именно их запретные рукописи, а не «произведения бесчисленных подхалимов, которые давным-давно сожгло время. И это был с его стороны глубоко разумный шаг. Ведь если бы они заговорили – боже мой, как много пустопорожних, высокопарных, полных явной или замаскированной лжи слов посыпалось бы на нас, как под осенним ветром мокрые, пожелтевшие, рассыпавшиеся в прах листья! Мы утонули бы в сером болоте пошлости, приторном сладком тумане незаслуженной лести, полуправды, которая хуже лжи».

Посмертный «Эпилог» из тех книг, которые прорывали давящую, всеобволакивающую немоту. Он прорывал ее тем, что восстанавливал вынужденные умолчания, восполнял пробелы и пустоты трилогии «Освещенные окна», где «многое зашифровано, многое недосказано, из боязни, что все равно будет срезано цензурой». Тем, что в нем договаривалось, дописывалось недоговоренное и недописанное как в предшествовавших книгах «Здравствуй, брат, писать очень трудно...» (1966) и «Собеседник» (1973), так и в создававшихся по его следам, но опередивших по времени издания «Вечерний день» (1980), «Письменный стол» (1985), «Литератор» (1988).

Все они – явления автобиографической прозы воспоминаний, строго документированной множеством архивных материалов, в том числе дневниками писателя, письмами его и ему. Автобиографическая проза В. Каверина – неотъемлемая часть его обширного литературного наследия, ярко

высвечивающая как драматичную историю русской культуры на протяжении семи советских десятилетий, так и самораскрывающую личность автора. Что вело к ней одновременно с романами, повестями, рассказами?

Неослабная духовная потребность, «пристально вглядываясь в себя, неустанно и беспощадно испытывать память! Ведь память приводит в движение совесть, а совесть всегда была душой русской литературы». Вспомним и сопоставим: академик Д. С. Лихачев, чей мастерски выписанный творческий портрет включен в книгу «Письменный стол», считал память, совесть, культуру понятиями одного синонимического ряда. Человек беспамятный, полагал он, то же, что и бессовестный...

Неуспяная и неуступчивая память обязывала В. Каверина числить себя в серапионовом братстве и в те последние годы, когда 70-ти и 80-тилетние «серапионы» «уже давным-давно не братья», в лучшем случае «равнодушные знакомцы», в худшем – враги, опорочившие «свою вольнолюбивую юность». Она подняла его на трибуну второго писательского съезда, уподобленного «тусклому зеркалу из жести, в котором отражалась не литература, а настороженность, встречающая прямой и откровенный разговор о литературе». Константину Паустовскому, который «хотел говорить о литературном языке» искалеченном канцеляризмами, «о праве искусства на независимость», без чего «оно превращается в рупор пропаганды», не дали слова. Но прозвучало слово В. Каверина об авторитете и достоинстве литературы, в которой «появление Суровых даже вообразить невозможно», но которая не отторгает, а помнит и чтит наследие Юрия Тынянова и Михаила Булгакова. Тот же мотив благодарной памяти, не порастающей сорной травой забвения, будет затем развит в речи на четвертом съезде – непроизнесенной, но написанной загодя и спустя годы включенной в мемуары писателя.

Если первый писательский съезд В. Каверин называл «съездом обманутых надежд», второй – съездом функционеров, озабоченных «вторичным, агитационно-административным существованием» литературы, четвертый – «съездом мертвых душ», то ниспадающая шкала таких оценок предопределялась резко критическим отношением к чиновно-бюрократической махине, именовавшейся Союзом писателей СССР и с первых же своих шагов занявшей «развитием, разветвлением, укреплением» самой себя. «Союз против писателей» – припечатал однажды В. Каверин. «Я был свидетелем, как он в течение десятилетий терял связь с литературой. Я безуспешно пытался указывать его руководителям те редкие перекрестки, где жизнь этой организации сталкивалась с подлинной жизнью литературы. Все было напрасно. Да и кто стал бы прислушиваться ко мне?».

Прислушиваться – прерву ненадолго цитату – в самом деле было некому. Студенческая память подсказывает на этот счет отложившийся в ее закромах красноречивый эпизод 1954 года, когда в ходе дискуссий перед вторым писательским съездом в «Литературной газете» появилось коллективное письмо, подписанное К. Чуковским, С. Маршаком, К. Пау-

стовским, Вс. Ивановым, В. Кавериним, еще кем-то. Авторитетные писатели убежденно и убедительно ратовали за нестесненность живого литературного процесса аппаратчиками из СП СССР. Средоточием его, горячо настаивали они, должны стать не секретариат, не правление Союза писателей, не созданные ими многочисленные секции и комиссии по поэзии, прозе, драматургии и т.п., а литературно-художественные журналы со своей творческой программой, эстетической платформой, со своим кругом авторов, сплотившихся вокруг редакции. Иначе говоря, со своим выразительным лицом необщим выраженьем, равно проявленным и в содержательных проблемно-тематических, и в формальных жанрово-стилевых ориентациях. По нынешним меркам «разножурналья» письмо такое же азбучное, как памятная моему поколению статья В. Померанцева «Об искренности в литературе»: «почти детская по своей самоочевидности», вспоминал В. Каверин, она в предостерегающую пору манифестальной публикации «показалась отчаянно смелой». Разумный призыв мастеров, обеспокоенных обезличенной похожестью журналов, показался не просто не ко времени смелым – дерзким, подрывным, злонамеренным. В «литературных мечтаниях» авторов, поставивших подписи под письмом, углядели хитроумное покушение на идейный монолит советской литературы, злостное намерение воскресить милую их сердцам «групповую борьбу» 20-х годов, вернуть аполитичность и безыдейность «попутчиков». Примечательный пример круговой самообороны администраторов от литературы, их бдительного нежелания не то чтобы вникать в здравый смысл, но хотя бы неравнодушно внимать ему...

Продолжу, однако, прерванную цитату. «Союз разрастался, превращаясь в министерство, порождая новые формы административного устройства. Разрастаясь, размножаясь, – с помощью элементарного почкования, – он породил огромную «окололитературу» – сотни бездельников, делающих вид, что они управляют литературой. Между понятиями «писатель» и «член Союза» давным-давно образовалась пропасть». Не стоило бы пренебрегать сегодня этими предостерегающими раздумьями старейшего мастера, бездумно подхватывая объединительные призывы к восстановлению некогда единого Союза. И то благо, что писателей, а не «республик свободных»!..

Та же неослабная память о том, «какие могучие таланты были загублены, а какие донесли свою тяжелую ношу», водила каверинским пером, от книги к книге все более полно воскрешавшим живые портреты Юрия Тынянова, Льва Лунца, Б. Эйхенбаума, Ю. Оксмана, Б. Бухштаба, Михаила Зощенко, Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Ильи Эренбурга, К. Паустовского, Э. Казакевича, А. Яшина. Б. Пастернак, О. Мандельштам, Ю. Олеша, некоторые другие близкие В. Каверину люди выведены и В. Катаевым в книге «Алмазный мой венец». Но сопоставим ракурсы восприятия одних и тех же фигур: между их авторским видением, пониманием, изображением пропасть нравствен-

ная. И решительное неприятие В. Кавериним катаевской книги определялось счетом нравственным. Не в том только беда, что «воспоминания В. Катаева (“Алмазный мой венец”) совершенно недостоверны» и потому «не представляют собою никакой цены для источниковедения». Это, по Каверину, лишь одна сторона проблемы. Существенная, тем паче для него, историка литературы, но все же не первая и не главная. А первая и главная в том, что, повествуя «о своих близких отношениях», например, с Пастернаком, выведенным «под псевдонимом “Мулат”, более подходящим на кличку», писатель «милостиво включает его в круг “бессмертных”, которые вращаются вокруг Катаева, как на карусели». А между тем, «если бы кому-нибудь захотелось найти антипода Пастернака в нравственном отношении, им оказался бы сам В. Катаев».

Счетом нравственным продиктованы и другие нелюбимые суждения о людях «на виду». Куда б ни шло, скажем, о Сергее Михалкове, представленном как «живое воплощение язвы продажности, разъедавшей и разъедающей нашу литературу». Но и об Ал. Толстом, и о М. Шолохове. А также – о бывших друзьях: В. Шкловском, Н. Тихонове, К. Федине. Но характерно: если о патологических предательствах В. Ермилова, несовместимых с наукой спекуляциях «блоковед» Б. Соловьева и «маяковсковеда» В. Перцова, «маниакальной направленности ума» железобетонного сталиниста В. Кочетова рассказывается с нескрываемым презрением, то о тех, с кем разошлись когда-то общие пути-дороги, – с душевной болью.

Здесь я позволю себе короткое отступление, чтобы сослаться на свидетельство собственной памяти. Рассказ о последней, предшествовавшей окончательному разрыву встрече В. Каверина с К. Фединым мне довелось услышать от Вениамина Александровича задолго до того, как я прочел о ней в «Эпilogue». Из этого рассказа я знал о том, как воодушевил бессменного председателя СП СССР неожиданный визит к нему на переделкинскую дачу Брежнева и Суслова, как он, польщенный, обещал «нашему дорогому» генсеку и главному идеологу одобрение писательской общественностью готовившегося в то время суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем, как, оправдывая и даже облагораживая себя, самоутешительно сослался – а что, они были лучше? – на сталинские «тройки». Но запомнился не просто рассказ об этом, а горькая интонация рассказа. В ней было не только осуждение бывшего друга за непозволительное с позиции В. Каверина слабование, недостойный писателя компромисс с совестью. Была и печаль переживания за друга, сожаления о том, что он не в первый раз проявил расчетливую слабость, в которой, обманывая себя, не хотел признаться. . .

В «Эпilogue» такие нравственные падения объясняются психологическими деформациями личности, утратившей «необходимое равновесие между истиной и искусством». Что и говорить, – суровый счет. Но важно и принципиально: чаще всего он начинался с самого себя. И был по отношению к себе не всегда справедлив, но всегда высок.

«...Уже началась, уже вступила в свои права душевная деформация, с которой я тогда еще не умел и не хотел бороться», – о себе в начале 30-х. И еще раз о себе тогдашнем: «... “Психологическая деформация”, превращающая писателей в исполнителей “социального заказа”, произошла и со мной». Вернее бы сказать: могла произойти. Бравурной «ноте согласия, а не сопротивления», творческому кризису, каким грозили обернуться неудачные, «с закрытыми глазами» попытки примириться с действительностью, – хрестоматийно, по Белинскому, с подлой действительностью, – всей своей художественной мощью воспрепятствовал роман «Два капитана», писавшийся с мыслью «о пользе справедливости. ... В те месяцы и годы, когда несправедливость, недоверие, предательство таились за каждым углом, так важно было воспользоваться объявленными, пусть даже номинально, понятиями благородства и чести»...

В исповедальном ключе, не щадящем себя, выписана сцена собрания, прорабатывающего Леонида Добычина незадолго до его самоубийства, которое В. Каверин назвал жестоким убийством. «Почему никто – и я в том числе – не выступил в защиту Добычина, объяснить легко и в то же время трудно. Конечно, трусили – ведь за подобными выступлениями сразу же выступало понятие “группа”, и начинало попахивать находившимся в двух шагах Большим домом. Но к трусости присоединилось ощущение неловкости, а к неловкости – безнадежность».

Четверть века спустя – о собрании, превратившем Б. Пастернака в «члена Литфонда»: «Я не пошел на это собрание, сказался больным. ... Как это бывало уже не раз, я “храбро спрятался”. Теперь, когда я думаю об этом, я испытываю чувство стыда». В другом издании фраза продолжена: «Надо было пойти и проголосовать против»...

Вдумаемся: за малодушие корит себя человек, не согнувшийся в блокадную осень 1941 года под напором ленинградского НКВД, вербовавшего его в осведомители. «Но ведь можно писать одно, а думать другое?» – насаждает вербовщик, пытаясь выведать «пораженческие» настроения среди голодающих писателей. «Можно. Но я пишу то, что думаю»...

Чувством стыда терзается писатель, которому достало мужества не поддаться государственным высокопоставленным провокаторам, в чьем «больном мозгу, охваченном лихорадкой маниакального нетерпения», возникла идея так называемого «еврейского письма». Его сочинили зимой 1953 года, когда «антисемитизм перед процессом «убийц в белых халатах» достиг того уровня, который необходимо было как-то оправдать, объяснить, уравновесить». Сделать это призвали видных деятелей культуры, ученых, армейских и флотских военачальников, чьи подписи опробованным путем угроз, шантажа и циничной лжи собирала редакция «Правды». «Я прочитал письмо: это был приговор, мгновенно подтвердивший давно ходившие слухи о бараках, строившихся для будущего гетто на Дальнем Востоке. Знаменитые деятели советской медицины обвинялись в чудовищных преступлениях, и подписавшие письмо требовали для них

самого сурового наказания. Но это выглядело как нечто само собой разумеющееся – подобными требованиями были полны газеты. Вопрос ставился гораздо шире – он охватывал интересы всего еврейского населения в целом, и сущность его заключалась в другом. Евреи, живущие в СССР, пользуются всеми правами, обеспеченными конституцией нашей страны. Многие из них успешно работают в учреждениях, в научных институтах, на фабриках и заводах. И, тем не менее, в массе они заражены духом буржуазного воинствующего национализма, и к этому явлению мы, нижеподписавшиеся, не можем и не должны относиться равнодушно. Я передаю лишь в самых общих чертах содержание этого документа, память, к сожалению, не сохранила подробностей, да они и не имеют существенного значения. Ясно было только одно: решительно отвергая наличие в СССР антисемитизма, мы заранее поддерживали эти злодеяния, мы как бы сами участвовали в них, уже потому, что они совершались бы с нашего полного одобрения». Отказаться подписывать такое письмо – «значило поставить себя лицом к лицу с возможностью обвинения в сочувствии «воинствующему национализму». Согласиться? Это значило пойти на такую постыдную сделку с совестью, после которой с опозоренным именем не захочется жить». Отказавшись ставить под письмом свою подпись, В. Каверин, как и И. Эренбург, оказался среди тех, благодаря кому «идея дальневосточного гетто» провалилась еще при жизни «отца народов»...

Наконец, недостаточную гражданскую и творческую смелость подозревает в себе член редколлегии «Литературной Москвы», «не раскаявшийся» и под ударами, какие обрушила власть на «крамольный» альманах. Писатель, одним из первых заклеивший «пересыпанную ругательствами казарменную чушь» ждановского доклада о журналах «Звезда» и «Ленинград». Безоглядно помчавшийся вместе с Л.Н. Тыняновой – а обоим было уже по 70 лет! – в Калугу к главному врачу «психушки», куда засадили Жореса Медведева. Отважно выступавший в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля, академика А.Д. Сахарова и А. Солженицына...

Известны каверинские строки из письма К. Федину, сорвавшему возможную публикацию в «Новом мире» романа «Раковый корпус» о писателе, чья петля грозит задушить другого писателя. Но Каверин не был бы Кавериным, если б, размышляя (в какой мере он был прав, – другой вопрос) о книге «Бодался теленок с дубом», умолчал, что иные сюжеты делают ее «нескромной книгой», выдают снижение такта и вкуса...

Портретны воспоминания В. Каверина об Александре Твардовском. Путь их взаимного тяготения друг к другу, сближения не был прямым и простым, «свободные и естественные отношения» установились не сразу. Но по настоянию Твардовского-редактора дважды переписывался роман «Двойной портрет» и, что примечательно, в собрание сочинений В. Каверина он, в журнале так и не опубликованный, вошел не в первой, как «Открытая книга», а во второй редакции. Не потому ли, что «Твардовский

и “Новый мир” были опорой, державой, нравственным эталоном)? И еще о Твардовском: «Он – весь в продолжающейся жизни нашего искусства».

Отнесем это и к самому Вениамину Александровичу Каверину, убежденно внушавшему, что в «неравной схватке между телеграфистом Ять и литературой победила истерзанная и все-таки сияющая ровным светом гордости и достоинства литература».

Его самобытный, не поступавшийся нравственностью, не делавший уступок совести талант – на той перевесившейся чаше, какой предрешена эта победа...

II. ПРОЗА БЕЗ ЭПИТЕТОВ

Памятен рассказ Владимира Лакшина о читательской конференции «Нового мира» в Ленинграде. Ораторы, загодя подготовленные смольнинскими – обкома КПСС – инструкторами, прилежно зачитывали якобы свои тексты и друг за другом единодушно клеймили журнал за публикацию «субъективной» книги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Александр Твардовский, досадуя на дурно срежиссированный, шитый белыми нитками спектакль, слушал насупившись. Молчал, хмурился, мрачнел. А в заключительном слове главного редактора сказал, скрывая гнев иронией:

– Ни одна редакция, включая редакцию «Нового мира», не вправе обязать Илью Григорьевича вспоминать то, о чем он хотел бы забыть. И наоборот – забыть о том, что ему хотелось бы вспомнить...

Едкая шутка не по аналогии, а по контрасту приходит на ум каждый раз, когда в поисках редких жемчужин ныряю в нынешний бурный поток мемуаров. Не такой обильный, как детективный ширпотреб, но тоже внушительный. И растущий, расширяющийся за счет дневников, авторы которых, подобно В. Гусеву или С. Есину, высокоумно не полагаясь на наследников, спешат прижизненно обнародовать интимные записи для себя, торопливо фиксирующие всякую всячину – от литературных распрей и свар до бытовых анекдотов. Переадресовав таким мемуаристам симоновскую строку о письмах, справедливо будет заметить: воспоминания тоже «пишут разные: слезные, болезненные, иногда прекрасные, чаще – бесполезные». Среди бесполезных немало откровенно лживых, казуистически тенденциозных*. Еще больше просто пустых, сочинители которых ничего не хотят забыть, но зато и вспомнить им нечего. Вот и пишут с самообожанием себя любимого, и круто, мстительно сводят счеты с неполюбимыми.

Не теряющим актуальности, напротив, все более своевременным уроком и укором им воспринимается без малого тридцатилетней давности статья В. Каверина «Уроки и соблазны» – об историко-биографической, в

- * Зачастую – «кагебешных» авторов, любой ценой, изошренно отмывающих, облагораживающих и свое некогда всемогущее ведомство, и собственное участие в его карательных акциях. Но то – особая статья....

том числе мемуарной литературе. В ее «безграничном море» писателя привлекало «главным образом то, что ближе всего к художественной прозе, зависит от нее и соотносено с ней в обязывающем значении». Иными словами, воспоминания, а значит и дневники, не подсобны и не служебны, но представляют собой, должны представлять не преходящую, утилитарно публицистическую, а самодостаточную художественную ценность. Раньше и прежде всего они – проза без эпитетов и лишь после этого автобиографическая, мемуарная, дневниковая. Как, скажем, исторический роман: сначала роман, а потом уже исторический.

Такими высокими критериями В. Каверин неизменно руководствовался и в своих конкретных оценках. Воспоминаний ли И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», которые почитал как образец прозы, сопрягающей этическое и эстетическое начала и этим гарантирующей себе долгожительство в литературе. Посмертных ли публикаций дневников Корнея Чуковского, в которых также видел новаторское явление прозы, и собственно мемуарам открывающее новый путь. А соотнося подобные оценки с историей литературы, закономерно обращался к опыту русской классики. Герцена, чей «свободный, блистательный разговор с читателями, в котором нет ни принужденных встреч, ни выдуманных столкновений», оставил такой глубокий след в самосознании русской интеллигенции, что лишь глухой и незрячий, высокомерно третирующий «скучный» журнализм «Былого и дум», может не изумиться «свойственному ему мировому охвату», не восхититься «свободой и богатством его языка». Льва Толстого, чья трилогия «Детство. Отрочество. Юность» «отличается от других знаменательной чертой, определяющей глубину нравственного значения. Это история становления характера, тесно связанная с историей эпохи».

В этих и многих других суждениях плотно спрессованы как мировой художественный опыт, тем более внятный старейшему мастеру русской прозы, что он на протяжении всей своей жизни не переставал оставаться историком литературы, так и собственный творческий опыт автора трилогии «Освещенные окна» (1970-1976), создававшей в жизнестойком русле толстовской традиции. Плодотворное воздействие ее не только формально – в композиционном построении автобиографического повествования, дробимого на малые новеллистические эпизоды, которые затем сливаются в большие романские главы, но содержательно – в соотношении, взаимопроникновении собственной судьбы, истории семьи и движения исторического времени. Оно выразительно отпечталось в неповторимости как «моей жизни», хотя в ней «не произошло ничего необыкновенного», так и жизни «каждого из моих сверстников». Уловить, донести, передать эту личностную и общую неповторимость – так видел и понимал романист художественную сверхзадачу трилогии.

Ее сквозной, ключевой образ, давший название книги, подсказан городом детства, чей пейзаж, как и самый воздух, оживает произвольно, «без той посторонней необходимости, которая диктовалась формой рас-

сказа или романа), – освещенными окнами домов на фоне вечернего неба. Окна же светятся не просто в сумерках – неослабная память высветчивает их спустя годы и десятилетия. И если в прежних романах, предшествовавших трилогии, писатель «пользовался ключом воображения», то теперь в его «руках другой ключ – память. Тяжелый, с трудом поворачивающийся, он похож на те ключи, которыми в старину запирали города. Как в русской пословице, этот ключ – тяжелее замка».

Повествование в трилогии мастерски выстраивалось на пересечении, скрещении двух сюжетов. Внешнего событийного сюжета и внутреннего сюжета духовного становления личности, характера повествователя.

Сюжет внешний хронологически закреплён календарно точными названиями некоторых глав: «Июль 1914-го», «Весна 1917-го», «Лето 1917-го», «Осень 1917-го», «Весна 1919-го», «Весна 1920-го», «Осень 1921-го» и включает в себя живописную россыпь емких деталей, мозаично передающих колорит дореволюционного псковского, послереволюционного псковского, московского, петроградского быта. Наполеоновская треуголка и белые штаны губернатора на параде, страусовые боа и шляпы с птицами, будто из небытия выплывшие в германскую оккупацию Пскова, ячменный кофе с кокорами из картошки на кухне, окна которой завешаны «ватным одеялом». На улице мело, снег закручивался как-то страшно, словно кто-то бросался им из темноты.

Стой! Куда, куда? Назад! – закричали на улице, и мы услышали выстрел, а потом долгий замирающий крик.

Потом все стихло, и только, мотаясь и как бы не зная, куда деваться, все падал и падал косой, остренький снег».

То же в пестрой мозаике московских глав. «Всю зиму мы ели оладыи из мороженой картошки. На Пречистенке были две вегетарианские столовые, одна называлась «Убедись», а другая – «Примиришь». На днях я видел, как у входа в «Убедись» чуть не убили прохожего, бросившего корку хлеба собаке».

В этот внешний сюжет, сотканный из эпизодов и деталей, в совокупности своей слагающих панораму вздыбленного времени и его развороченного быта, органично вписан сюжет внутренний, опирающийся на авторские размышления о себе. Причем не тогдашние, а – закономерный прием в прозе воспоминаний – нынешние, обогащенные многотрудным опытом прожитого и пережитого, переосмысляемого с более чем полувекового расстояния. «Прошло несколько лет, и я понял, что кроме физической храбрости есть и другая, нравственная, которую нельзя воспитать, ныряя под плоты или прыгая с берега на сосну с опасностью для жизни». Или: «Можно ли провести границу, разделяющую детство и юность? Переход происходит незаметно: тает одно, бесшумно отдаляется другое, все глуше доносятся ломающиеся мальчишеские голоса. Иначе было со мной, и хотя нельзя сказать, что мои размышления были такими отчетливыми, какими они мне кажутся теперь, когда полстолетия отделяет меня

от зимы восемнадцатого года, я вижу себя упрямо приближающимся к светлой черте понимания. Войдя в Псков зимой 1918 года, немцы как бы захлопнули дверь за моим детством. Впервые в жизни я подводил итоги, и состояние души, в котором я тогда находился, запомнилось мне отчетливо, живо».

Передко, и это характерно для В. Каверина, в интонацию автобиографического повествования вторгаются ирония и самоирония. То коза съедает похвальный лист гимназиста, то он, страдая от неразделенной любви, хочет свести счеты с жизнью, но так, чтобы остаться жить и самому увидеть, «как подействует на Марусю мой решительный шаг». В том же ряду загородные, подальше от взрослых, баталии между семинаристами и кадетами или гимназические дуэли, завязавшие сюжетный узелок будущей «Открытой книги», более всего раздраживший критиков, организованно ополчившихся на первую часть романа.

Время, расколотое первой мировой войной и февральской революцией, оставляет свои духовные меты в горячих и долгих юношеских спорах.

«О чем же мы спорили?»

Что такое внутренняя свобода? Не политическая, дарованная нам навсегда, – в этом никто не сомневался. Нет, нравственная, свобода души, которая делает человека неуязвимым, бесстрашным.

Кто внутренне свободнее – Пьер Безухов во французском плену или Платон Каратаев с его языческой готовностью подчиниться Року?

Герой и толпа. Человечество ползет не четвереньках. Имеет ли право сильный человек взять в руки бич, чтобы подстегнуть отстающих?

Что такое любовь? Безотчетное предпочтение кого-то кому-то? И только?».

Явственной книжностью отмечены юные споры. Не удивительно: мир культуры – литературы, музыки, театра – с детских лет входит в сознание будущего прозаика, как бы предвосхищая его воспоминания и статьи не только о писателях и ученых-филологах, но и о художниках, композиторах, мастерах сцены и экрана. «Чтение» – этим частым в каверинской лексике словом названы несколько чередующихся глав трилогии. А чтение погружает в историю. «Это были не имена и даты, которые полагалось запомнить к очередному уроку, а люди и сцены, которые воочию проходили перед моими глазами». Въяве ожившие, они формировали не просто разностороннее знание, но развитое чувство истории, которое впоследствии станет для В. Каверина критерием эстетическим. Недаром он скажет потом о прозе Э. Казакевича: писателю «удалось отгиснуть очертания ладони на изменчивом лики времени». И так напишет о героине романа «Перед зеркалом» и ее прототипе: «Жизнь, о которой я рассказываю в романе, в сущности проста. Но над нею стоит знак истории».

Охотно принимая на себя частые упреки в «книжности», В. Каверин был склонен называть себя «залитературенным человеком». И в таком

именно амплу ревностно выступал в защиту «книжности», в которой видел не элементарную начитанность образованного эрудита, но свободу творческого обращения с культурой, «один из важных ресурсов литературного творчества». Оттого и его статья 1967 года «О пользе книжности» не столько манифестальна, сколько исповедальна. «... Чтение – неотъемлемая часть любой литературной работы. Это не только мир литературного сознания, но менее важный, чем опыт реальной жизни. Это сопутствующее всей жизни писателя явление резонанса, без которого серьезно работать почти невозможно. Войдите в комнату, где стоит рояль с открытой крышкой, и хлопните в ладоши. Отзовется та струна, частота колебаний которой совпадает с колебаниями, возникшими в результате вашего движения. Так отзываются в опыте чтения те струны, которые совпадают с кругом ваших намерений и профессиональных интересов. Так образуется литературный вкус, и важно еще с юности позаботиться о его широте».

Один из постоянных мотивов в раздумьях В. Каверина об искусстве, творчестве, мастерстве. К частым его повторам от книги к книге настраивала в течение многих лет не стихающая в нашей литературе «борьба против книжности». Отражая ее с открытым забралом, писатель «неизменно был на стороне тех, кто подвергался незаслуженным... нападкам за ограниченный мир книжного сознания». Почему, с какой стати, чем ограниченный, если не что иное, как «отсутствие или недостаточность знания собственной литературы с роковой неизбежностью останавливает развитие даже исключительного таланта»?

Но был, однако, еще один стимул неуступчивой защиты «книжности» и «книжников»: все более резкое по мере загнивания «развитого социализма» снижение интеллектуального уровня, сужение духовных горизонтов отечественной культуры и массовидного потребительского спроса на нее. Симптом этого разрушительного процесса, тем паче тревожный, что демагогически подавался в идеологическом обрамлении, писатель чутко распознал еще в послевоенные 40-е годы, когда отвечал на спровоцированное В. Ермиловым письмо ленинградских студентов, будущих школьных учителей, наставительно шельмовавших «Открытую книгу». В 80-е годы как знаково «отрицательное явление» он воспринимал шумный читательский ажиотаж вокруг романов В. Пикюля, свидетельствовавший «о падении вкуса! Конечно, они занимательны, но занимательны пошло. Эта занимательность, которая не связана с глубиной замысла, это времяпрепровождение, а не самоуглубление, которое всегда русская литература предпочитала любому другому чувству. Это та самая массовая культура, которая дешево стоит».

«Постперестроечные» 90-е годы и порубежье веков не только не отменили, но и мало-мальски не ослабили того полемического накала, какой несут «книжные» заветы В. Каверина. «Криминализация» и «киллеризация» сегодняшней литературы массового рыноч-

ного спроса` своей вызывающей антихудожественностью оставили позади даже пошлую занимательность пикулевских романов. Патриотистские громовержцы «образованщины», прикрываясь авторитетным именем Александра Солженицына, узаконившего это понятие, сокрушают образованность, знание и культуру, на них не перенося их противостояния собственному бескультурью, граничащему с невежеством...

Внешний и внутренний сюжеты «Освещенных окон» гармонично сливаются в воспоминаниях о литературных встречах, какими судьба не обделила В. Каверина уже в детстве и юности. Раньше и прежде всего – с Юрием Тыняновым, еще в студенчестве ставшим для него «вторым университетом». Благодатное начало этому домашнему университету положили гимназические сочинения Тынянова, в которых угадывался и будущий ученый, и будущий исторический романист. «К семнадцати годам он не просто прочел, а пережил русскую литературу... Он уже свободно владел крылатым знанием, основанным на памяти, которую можно назвать феноменальной».

Вслед за Ю. Тыняновым литературную среду, где вращался молодой Каверин, представляют А. Белый и Брюсов, Маяковский и Есенин, Мандельштам и В. Шкловский, Лев Лунц и другие «серапионы», в кругу которых «полная, безусловная откровенность была главным двигателем» развивающейся дружбы. А по мере расширения, уплотнения среды углубляются и раздумья повествователя о себе и своем окружении, о своем времени и его жизненных драмах. Подчас они жестоки и суровы, как неожиданное самоубийство обаятельной женщины-врача, остановившейся проездом через Петроград в тыняновском доме. «Эта история попала в мою книгу, потому что заставила задуматься о многом. С чувством изумления и беспомощности остановился я перед чужой жизнью, навсегда оставшейся нераскрытой. Рядом с моим мальчишеским честолюбием, самоутверждением, жадной славой я невольно поставил полное отрицание Памяти о прошлом, величии, скромности, обдуманное стремление исчезнуть бесследно. Эта смерть, которую нельзя выдумать, показалась мне фантастичнее моих фантастических рассказов».

Но не менее жизненных впечатляют уроки литературные. Об одном из них рассказано с той беспощадной самокритичностью, которая приходит с мудростью, выстраданной не днями, а годами. На очередной встрече «серапионов» обсуждается поэма Вс. Иванова. Юный В. Каверин задиристо, дерзко учиняет ей погром. Наверное, он был прав, хотя не в меру горяч: поэма действительно слаба настолько, что автор по пути домой без сожаления вышвырнул рукопись в Неву. Но Михаил Зощенко «с раздражением» корит разгоряченного собрата: «Нельзя лезть в литературу,

- Об этом мне привелось писать в статье «От какого наследства мы не отказываемся» («Вопросы литературы», ноябрь-декабрь 2001 года).

толкаясь локтями». Задиристый полемист растерян. «Я лезу в литературу? Толкаюсь локтями? И передо мной – это случилось только в обстоятельствах неожиданных, непредвиденных и только поэтому сохранившихся в памяти на удивление живо, – передо мной как в зеркале появился самоуверенный, самодовольный мальчик, неизвестно чем гордящийся, заносчивый, не сумевший оценить той счастливой случайности, которая привела его в круг людей, много испытавших, научившихся мягкости, доверию, вниманию и относившихся к нему с незаслуженными мягкостью и вниманием. Это был урок, который давало мне будущее, и во мне нашлось достаточно зоркости, чтобы его оценить, хотя и ненадолго. Немало еще прошло времени, прежде чем я сделал для себя выводы из этого и тысячи других уроков».

В наши дни такие уроки не извлекаются. И не преподаются. Недаром на склоне лет В. Каверин сильнее всего удручали пагубные поверхностность и разобщенность в литературной жизни. «Мы постепенно стали терять те черты духовности в культуре, которые существовали в ней исторически».

Отличительная особенность автобиографической и мемуарной прозы В. Каверина – естественное прорастание одного произведения из другого, переливание одного в другое. Впрочем, не всегда только автобиографической и мемуарной. Роман «Двойной портрет», свидетельствовал писатель, от «первой главы до последней» вышел из статьи «О честности в науке». По-своему и автобиографическая трилогия «вышла» из предшествовавшей ей и включенной в нее повести «Неизвестный друг». «Оглядываясь на свое прошлое, я не могу обойти ее. Но она неполна, многое в ней не рассказано, а рассказанное настроено на ломающийся голос мальчика, с трудом привыкающего к собственному существованию... Я назвал ее повестью, изменив имена друзей и родных. Годы унесли их, и ничто отныне не мешает мне вернуться к подлинности как в этом случае, так и в десятках других. Теперь главы «Неизвестного друга» стали для меня чем-то вроде оживших иллюстраций».

Аналогичным образом и из «Освещенных окон», а также из предшествовавшей трилогии и сопутствовавшей ей книг «Здравствуй, брат, писать очень трудно...» (1966) и «Собеседник» (1973) проросли последовательно книги воспоминаний, размышлений, портретов, скупо выборочных дневниковых записей, писем «Вечерний день» (1980), «Письменный стол» (1985), «Литератор» (1988), «Счастье таланта» (1989), «Эпилог» (1989). Их взаимосвязанность, преемственность подчеркивались неоднократно. «Кончая книгу «Освещенные окна», я не переставал сожалеть, что некоторые главы опущены по велению... «внутреннего редактора»... Лишь очень немногие читатели догадываются, что многолетний опыт помог мне придать книге законченный вид и скрыть эту неполноту, на которую я решился сознательно, понимая, что вполне откровенный рассказ о литературной жизни Ленинграда 20-х годов бросил бы тень на всю три-

логию в целом... Опущенных глав немного, но они придали бы большую определенность политической атмосфере, о которой я почти не писал».

«Внутренний редактор» – мрачная реальность советской истории и литературы – сопровождал каждого печатающегося писателя. В. Каверин тоже не избегал его неотвязного присутствия рядом с собой. С оглядкой на него писалась, например, «новомировская» статья «Несколько лет»: по признанию писателя, «желание сказать «почти правду», на деле скрывающая ее, особенно характерно» для тех ее страниц, которые посвящены первому писательскому съезду.

Так что же вымарал вездесущий «внутренний редактор» в «Освещенных окнах»?

Не вставную повесть-воспоминание «Старший брат», включенную в книгу «Эпилог», – о тернистом, по кромке обрыва пути выдающегося ученого-микробиолога Льва Зильбера, политического узника сталинского ГУЛАГа. В трилогии «Освещенные окна» под этим названием даны лишь начальные страницы его жизнеописания, ибо последующие научные открытия и в перемешку с ними аресты, тюрьмы, «шарашки», лагеря, пересылки и ссылки в хронологию автобиографического повествования никак не укладывались. Вне временных рамок действия «Освещенных окон» и глава в «Эпилоге» – «1941. Блокада. Допросы»: о провалившихся, разбившихся о твердую волю и неуступчивую мораль писателя попытках ленинградского НКВД завербовать В. Каверина в осведомители. Иное дело – новелла «Засада»: о нашествии на квартиру Ю. Тынянова петроградских чекистов, раскинувших паучьи сети облавы вокруг Виктора Шкловского. Действие ее в хронологию «Освещенных окон» вписывалось куда как плотно, но само собой разумелось, что бдительный главлит не пропустил бы новеллу ни при какой погоде. Все названное, заметим, высокохудожественные образцы остросюжетной прозы, щедро наделенной, по меткому определению исследователей каверинского творчества, «энергией подлинности».

Всего лишь один пример из множества возможных, выявляющих подспудную силу этой энергии, сконцентрированной в подтекстовых глубинах писательского слова. На тюремном свидании с родственниками Лев Зильбер украдкой передает им сложенный в двадцать раз листок тонкой бумаги. Записка, но о чем? Об отчаянно безысходном положении заключенного? О том, как быть ему дальше? К кому взывать с просьбами облегчить тюремную участь узника? Ничуть не бывало. «Ни слова о ложных обвинениях, за которые его пятый год держат в тюрьме, ни слова о том, что делать, куда обращаться, кто, по его мнению, может помочь». Бисерным почерком в записке излагалась вирусная теория рака, которую зек разработал в лагерях, на этапах и пересылках...

- О. Новикова, Вл. Новиков. - В. Каверин. Критический очерк. М.: «Советский писатель», 1986, с.21.

«Внутренний редактор» не пропустил в трилогию ничего близкого. А также вычеркнул и собственно литературные главы, прежде всего о «сериаонах».

Два равнодействующих, обстоятельно мотивированных стимула водили пером писателя, скрупулезно восстанавливавшего вынужденные пробелы «Освещенных окон» в книгах, которые восполняли, продолжали трилогию.

Первый – обостренная, но не утоленная до конца потребность самопознания, самоосмысления, самооценки в разнообразном и многослойном контексте неостановленного времени, «в непрерывной цепи движения истории». «Кто же я?» – содержательный рефрен нескольких глав «Освещенных окон» не случайно вынесен в название одной из них. Развернутое продолжение его мы находим в последующих раздумьях писателя, о том, как важно «увидеть себя, свое дело и свое прошлое спокойно и беспристрастно. Лишь в последние годы мне удавалось время от времени добираться до самого себя. Нужно многое, чтобы пробиться через жалость к себе, через легкость самооправдания, но зато, если это удается, и выигрываешь многое. Полузнание или даже четвертьзнание самого себя – одно из самых неодолимых последствий пережитого». Трагически – «трагедия советского писателя!» – усугубленная невозможностью оставаться «наедине с собой. Всегда присутствует третий – государство в любой форме, иногда почти незаметной и потому особенно опасной». Под всевидящим и всеведущим приглядом этого третьего лишнего писателю не до «других» – впору бы увидеть, узнать, понять себя «без свидетелей и подслушивающих аппаратов». Ведь «в основе любого искусства лежит одиночество, связанное с самопознанием, и не много выигрывает художник, видя себя испуганным, притворяющимся, подравнивающим истину».

Заметим: размышляя о писательском самопознании, В. Каверин ни словом не обмолвился об опасности подменяющего его самолюбования. Стало быть, такой проблемы он не признавал да и не знал, она перед ним не стояла, его автобиографической и мемуарной прозе не угрожала. И если внутреннюю жизнь писателя он уподоблял суверенному микромиру, то с уточняющей оговоркой: «... именно в образе этого микромира отчетливо отпечатывается время». А применительно к себе добавлял: «Может быть, если бы я не был в молодости историком литературы, мне не пришла бы в голову мысль записать бегущее по следам, похожее на тень отражения жизни. Но я был знаком с людьми, значение которых неоспоримо в истории русской культуры. Мои заметки о них, переписка между нами, случайные или условленные встречи, в сущности, принадлежат не мне, а им ... они принадлежат истории русской культуры, которая вольно или невольно создается этими людьми».

Еще один принципиальный аспект вносит в эту тему «имена писателей, которых уже нет с нами». Но с их судьбами, жизненными и творческими,

также нерасторжимо переплетены «страницы недавней литературной истории, заставляющие о многом задуматься, многое переоценить. Это – не беспредметное оглядывание назад. Это – всматриванье, которое неизбежно сопутствует истинному изучению прошлого. Это – движение вперед, а чтобы двигаться вперед, нужна верная карта. Без белых пятен (рядка моя, – *В.О.*). Без искажений – намеренных или невольных».

Так определяется второй ведущий стимул к восполнению прежних умолчаний, пустот, пробелов. «Нам нужно серьезное знание пройденного пути в его полноте, сложности и противоречивости. Без этого невозможно формирование исторически зрелого мышления». К месту напомнить: статья В. Каверина «За рабочим столом», шесть лет пролежавшая в «Новом мире», пять раз набиравшаяся и раз за разом снимавшаяся цензурой, первоначально называлась «Белые пятна»...

Отбивая яростные атаки на «Люди, годы, жизнь», Илья Эренбург не уставал повторять: он писал не историю XX века и не историю литературы в XX веке, а историю своей жизни. Не больше. Но и не меньше. В. Каверин, напротив, не однажды настаивал на историчности своих воспоминаний. «... Всецело отдавшись прозе в конце двадцатых годов, я остался историком литературы». Да и как было не остаться, если «история советской литературы прошла перед... глазами» ее непосредственного «участника и очевидца», природно наделенного художественным даром писателя и исследовательским даром ученого? Отсюда и его спор с любимым Пастернаком: надо ли «заводить архивы, над рукописями трястись»? По В. Каверину, не просто надо – необходимо. «... Пастернак не прав, по меньшей мере, в том, что соединил архивы и славу. Подчас архивы создаются сами собой, самовольно, произвольно. Но кто не знает, как бережно, с каким терпеливым вниманием относился к своим рукописям Александр Блок?!». Пример, что и говорить, воодушевляющий. Но и не будь его, в каверинском отношении к своим и чужим архивам и рукописям ничего бы не изменилось: о том с лихвой позаботилась его вторая натура историка литературы и одновременно литературного критика. Поэтому и проза его, автобиографическая и мемуарная, может и должна рассматриваться в ракурсах не только творческих, но и историко-литературном, и литературно-критическом.

Это особая, объемная и емкая тема, в рамках статьи поддающаяся разве что беглому обзору. Или того хуже: штриховым контурам, очерчивающим отдельно взятые проблемы, освещение которых являет собой своеобразный вклад В. Каверина в филологическую науку.

Начать с того, что без каверинских воспоминаний история литературы 20-х годов окажется существенно неполной. Особенно неполными будут представления о значении и месте в ней «Серрапионовых братьев»: и то и другое по следам ждановских шельмований искажалось до неузнаваемости. И современному горьковедению тоже не обойтись без свидетельств В. Каверина о встречах с Горьким, заинтересованном отношении мэтра к

«серапионам», его докладе на первом писательском съезде и войне с Достоевским, «основательно, прочно, надолго», объявленной в этом докладе «национальному гению»...

Неоспорима объективная научная ценность наступательного спора писателя с конъюнктурной, фальсифицирующей, спекулятивной историей литературы, будь то «блоковедение» по Б. Соловьеву или «маяковское ведение» по В. Перцову. Проницателен и глубок комментарий к «пушкинской» речи Блока «О назначении поэта» как завещанию и пророчеству, чуток и тонок анализ «Двенадцати», включающий интерпретацию финала под знаком многозначности художественного образа и разновариантности его прочтений. Трагический выстрел Маяковского и его гулкие отзвуки в писательской среде вывели к неустаревающим раздумьям о несовместимости искусства «с идеей воинствующего утилитаризма»...

Нестандартно литературоведческое прочтение В. Кавериным творчества М. Зощенко как самобытного писателя, первым почувствовавшего «грозную силу, которая пошла бок о бок с понижением интеллектуального уровня» общества, «с многоэтапным нападением на беззащитное искусство, Этой силой было беспредельно разветвившееся мещанство. Только оно и могло выжить, заранее соглашаясь на раздвоение, на превращение в «рычаги» (ассоциативный переброс к рассказу А. Яшина, – В. О.), для которых и нравственность была только обузой»...

Не единственный пример того, как проницательные суждения писателя намечали новые историко-литературные подходы, оставившие в академической науке бреши, которые она не могла залатать. А в случае с Ю. Тыняновым и не пыталась латать, уступив первенство В. Каверину как деятельному председателю комиссии по литературному наследию ученого и писателя, инициатора изданий его научных трудов, организатора «Тыняновских чтений» в Резекне и Пскове...

Современная Армения глубоко чтит русских писателей, оставивших в благодарной памяти поколений не порастающий травой забвения след или мастерскими переводами армянской поэзии, или вдохновенным словом об армянской земле, народе, многовековой культуре. Называются Валерий Брюсов и Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Василий Гроссман, Мария Петровых и Михаил Дудин. Продолжим достойный ряд В. Кавериным, чья еще довоенная поездка в Армению свела его с Егише Чаренцом, портрет которого выписан так же любовно, как Павла Антокольского или Леонида Первомайского...

Ближе к нашим дням стоит выделить рассказ-воспоминание о последней встрече с А. Фадеевым, добавивший важные психологические нюансы в контрастную картину «оттепельного» рассвета. Убежденную и убедительную защиту повести Э. Казакевича «Двое в степи», романа В. Гроссмана «За правое дело», рассказа А. Яшина «Рычаги». Да и на «постыдношумную историю» с романом «Доктор Живаго» В. Каверин смотрел и как литературный критик, непредвзято интерпретирующий его идеи и об-

разы, и как историк литературы, сожалеющий, что о потрясшем цивилизованный мир позорище начинают постепенно забывать, а между тем о нем надо помнить и знать хотя бы потому, что оно, без всякого сомнения, было отмечено «этапным значением в развитии отношений между литературой и обществом»...

Пристально вглядываясь в текущий литературный процесс, писатель особо выделял в нем В. Тендрякова и Ю. Трифонова, В. Шукшина и В. Быкова, В. Войновича и А. Битова, Н. Катерли и В. Савченко (перечень далеко не полный). Обратим внимание: разные творческие индивидуальности, темы и проблемы, манеры и стили, но равно интересные старшему современнику именно этой разностью. Зоркий аналитический взгляд В. Каверина чурался догматической узости, не признавал мертвяще безликого единообразия, исповедовал живое многообразие художественных исканий, устремленных к той «подлинной жизненной правде», постижение и воплощение которой в искусстве – явление событийное. Ибо «дань правдоподобию чаще всего отдают те, у кого нет смелости говорить о чем-то вслух, в полный голос».

Не иначе как в полный голос В. Каверин успел предостеречь от нового, националистического диктата догм и схем, рядившихся не в скомпрометированные партийные мундиры, а рекламируемые псевдонародные одежды. Чиновников заменили патриотисты, которых писатель прозорливо объединял в «православно-антисемитское направление». Не поветрие переменчивой моды, как поначалу самоуспокоительно казалось многим, а стойкое направление великодержавной, имперской мысли. При жизни писателя оно оформлялось идеологически. В 90-е годы прочно утвердилось как национал-большевистский симбиоз коммунистических и шовинистических воззрений. Их мутная волна не пошла на убыль ни на рубеже веков, ни в начале нового века. Напроломно претендуя на монополию общественного мнения, она демонстративно норовит навязать ему культурологический примитивизм, историко-литературный дилетантизм, эстетическое безвкусице. Последнее (по времени, когда пишется эта статья) и наглядное выражение этого – двухподвальная ода В. Бондаренко роману А. Проханова «Господин Гексоген», который, де, «мощно встрянул читательские мозги даже у прокисшей интеллигенции» и потому уподоблен «броску Суворова через Альпы». Мало того, что литературный генералиссимус, «как и Достоевский(!), как и Шекспир» (!!), представляет «имперский тип художника»(!!!), – сверх всего он и «наш современный Нострадамус, в своих сочинениях предсказывающий будущее России» и, само собой, знаковый писатель – куда там года, десятилетия или столетия – третьего тысячелетия! («Советская Россия», 27 апреля с.г.). Не надо пылкого воображения, чтобы представить: как бы воспринял, оценил подобные эскапады абсурдов В. Каверин...

Писатель с безотказным нравственным слухом и безошибочным нравственным чувством, он поверял духовный климат эпохи «отношением

людей к жертвам произвола» и сам стимулировал, направлял его, воскрешая трагедийную правду гибели Л. Добычина, тюремно-лагерных мытарств Н. Заболоцкого, принародных глумлений над М. Зощенко, поднятых до уровня государственной политики. «В обществе существуют эталоны культуры, и они создают ту нравственную атмосферу, значение которой нельзя переоценить», – наставлял он. И, приобщая к ней сознание читателей, раскрывал перед ними творческие миры М. Булгакова и А. Платонова, А. Ахматовой и М. Цветаевой...

«Писательское литературоведение»* – говорят об историко-литературных концепциях В. Каверина авторы первой и пока что единственной монографии о жизни и творчестве писателя. Но что делает его писательским, если не преимущественно нравственный ракурс восприятия литературной истории и современности? «Когда меня спрашивают, – доверительно исповедовался он, – бывали ли у меня разочарования в жизни, я отвечаю: неоднократно. И почти всегда они были связаны с тем, что дорогой мне человек отказывался от себя, от утвердившейся еще в молодости линии нравственного поведения и поступал не так, как должен был поступать. Умение держаться своей нравственной позиции тоже имеет прямое отношение к культуре. Культурный человек должен доверять своим нравственным ориентирам больше, чем мнению окружающих, даже если это мнение большинства. Верить своему нравственному чувству».

Помимо всего, в этом исповедании – ключ к портретам В. Шкловского, Н. Тихонова, К. Федина.

На «Каверинских чтениях» в Пскове, проведенных к 100-летию со дня рождения писателя, А. Чудаков оспорил мою готовность принять Виктора Шкловского таким, каким он выведен В. Кавериним: мемуарист не прав. Возможно (я лично В. Шкловского не знал, и мне об этом судить трудно). Но если и не прав, то вряд ли в большей мере, чем, с обратной стороны, Владимир Огнев, чье пиететное отношение к кумиру засвидетельствовано книгой «Амнистия таланту» (М., «Слово», 2001). Личность, тем паче такая масштабная, в однозначные оценки не укладывается. И суть в том, что В. Каверин, ведя речь о незаурядном таланте бывшего друга, не был однозначен. Ведущий мотив выписанного им портрета – психологический слом человека, не выдержавшего шквального напора системы. «Он был не виноват, что его научили бояться»... «Он – в плену. И не виноват в том, что 50 лет тому назад его заставили поднять руку и сказать: “Я сдаюсь”»... Что это, как не исторически обусловленная тема страха, ставшая – уместная аналогия – названием философского эссе Даниила Гранина об эпидемии повального страха, культивируемого тоталитарной системой? Драматическая реальность советской истории, она не обошла и самых мужественных писателей. Анна Ахматова, напоминал В. Ка-

* О. Новикова, Вл. Новиков. – В. Каверин. Критический очерк. М.: «Советский писатель», 1986, с.243.

верин, не единожды сжигала заученный наизусть «Реквием», чтобы затем восстановить текст по памяти и снова сжечь. Если б, продолжал писатель, возможно было выучить наизусть роман «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков поступал бы так же...

«Не обвинительный акт», а сострадающее раздумье и портрет Николая Тихонова, чья биография – тоже «биография времени. Русская литература потеряла поэта, и эти страницы – не что иное, как попытка объяснить причины и следствия этой потери. Если бы в результате точно таких же причин она потеряла только его – не стоило бы, может быть, тратить время на работу. Но он не один. Разобраться в его превращении – это значит разобраться в судьбе его сверстников, а сверстниками были писатели, которые могли бы обогатить нашу литературу. Непревратившиеся обогатили. Но это – малая доля безвозвратно утраченного богатства». Сергей Эйзенштейн поставил вдвое меньше фильмов, чем мог поставить. Повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна» – из единичных примеров безоглядно отважного сопротивления репрессивному режиму...

Соотношение с моралью для В. Каверина – главный, узловый вопрос культуры. Спираль его иногда спрямлена нравственным максимализмом, искавшим опоры в великих исторических образах: «“Медный всадник”» не мог быть создан человеком лживым или трусливым». Но за пределами таких образцов прямое наложение творчества на мораль и морали на творчество проявляет не столько историко-литературные реалии, сколько душевную гармонию писательской личности. Конечно, это предпочтительней нынешнего цинизма с его подчас всеохватно раскидистыми вкривь и вкось корнями и ветвями, но истина требует оговорок. Не один Артюр Рембо – случай, приведенный и В. Кавериним, – упраздняет тождество, снимает знак абсолютного равенства «между произведениями писателя и его нравственной позицией... писатель и есть то, что он создает». Каждый по-своему упраздняют и снимают Бодлер и Верлен, и не только западные, но и отечественные писатели от Некрасова до Есенина и далее вплоть до наших дней...

Вспоминаю сдобренный юмором рассказ В. Каверина о том, как И. Эренбург любил подшучивать над его неисправимым оптимизмом. Но правда истории при всех понесенных ею уронах оказалась все же на стороне оптимиста. Как в отношении отдельных писательских судеб («...Я всегда надеялся на лучшее, в самые трудные для Зощенко годы я верил, что справедливость восторжествует»), так и применительно к общелитературным путям-дорогам: «Прагматизм не вечен, и он настолько противоречит самой природе искусства, что оно – я верю! – в конце концов возьмет верх». Не вечны, добавим, настраиваясь на каверинскую волну, и сегодняшний рыночный шабаш, и литературные вакханалии национал-большевистских патриотистов.

Но то загляд в будущее. Неисправимый же оптимист В. Каверин не изменял себе и тогда, когда оглядывался на прошлое, о котором, как ред-

ко кто, сказал горькую правду. «Двадцатый век, который О. Мандельштам не случайно назвал «век-волкодав», показал такие чудовищные примеры уничтожения духовного начала, чести и благородства, что художник, который позволил бы себе забыть о необходимости защиты этих понятий в сознании молодых поколений, заслуживал бы презрения. В то же время ни одно столетие не знало и не видело примеров такого всенародно героизма, мужества, благородства, как наше». Так ли уж не видело и не знало ни одно столетие? Явное преувеличение, то ли произвольно эмоциональное, то ли намеренно полемическое. Но в любом случае не перечеркивающее ни героизма, ни мужества, ни благородства, которые побуждали писателя не соглашаться с теми, кто считает, будто «развитие советского искусства оборвалось в тяжелые, всем нам памятные годы. Оценивая уходящий двадцатый век, можно привести много доказательств того, что искусство, продолжая великие традиции, не отступило ни на шаг от создавших и воодушевивших такое чудо в нашей и мировой истории, каким является русская интеллигенция. Я имею в виду появление и всенародное признание произведений Ахматовой, Булгакова, Заболоцкого, Пастернака, Платонова, Тынянова, Цветаевой в литературе и равных по значению деятелей в живописи, музыке и театре. Без сомнения, этот процесс происходил и происходит в нашем кинематографе».

Снова аналогия с Д. Граниным, возмущенно отвергающим упражнения критики «в остроумии, иронии. Главное – ниспровергнуть, разровнять советское наследие так, чтобы не осталось ничего из недавних авторитетов, любимцев. Доказать, что ничего достойного не было». Но и в «век концлагерей, геноцида, депортации целых народов, атомных взрывов, Гулага, Холокоста, отравляющих газов, газовых камер» существовала литература, которую по праву можно назвать великой. Потому что ее, как и науку, кино, театр, музыку, представляли – среди мастеров назван и В. Каверин – «славные имена»*.

Не принимая тоталитаризм, нет нужды подтверждать это праведное неприятие тотальным же нигилизмом по отношению ко всему, что создано за почти три четверти века советской истории. Причем чаще всего в подсознательно скрытый, а то и осознанно явный перебор официальным идеологическим и пропагандистским установкам на советскость. В этом тоже творческие заветы и нравственные уроки В. Каверина. И не только автобиографической или мемуарной прозы, рассмотренной в статье, но и всего литературного наследия, от которого она неотделима...

* Даниил Гранин. - Тайный знак Петербурга. СПб.: «Logos», 2001, с.29,7,31.

В.А. КАВЕРИН В «НОВОМ МИРЕ» ТВАРДОВСКОГО

С «Новым миром» А.Т. Твардовского связан значительный период жизни и творчества В. А. Каверина. Твардовский был редактором этого журнала в общей сложности 16 лет – в 1950-54 и 1958-70 гг.. И на всем протяжении его пребывания на этом посту связь Каверина с «Новым миром» не прерывалась: он начал сотрудничать с Твардовским сразу же по назначении его редактором – в 1950 г., а последняя каверинская публикация здесь (статья «Несколько лет» в №11 за 1969 г.) состоялась накануне гибели журнала. В те дни всем уже было ясно, что «“Новый мир” идет ко дну. // Честь и совесть на кону». После ухода Твардовского Вениамин Александрович забрал свой «Роман в письмах», уже объявленный старой редакцией к печати, опубликовав его в «Звезде» («Перед зеркалом», 1971, №1-2). Это была его акция протеста против разгона журнала.

Помню, как навещая отца в больнице, захватила номер «Звезды» с этим романом, который читала в те дни. Он пролистал его с горькой улыбкой: наверное, подумал и о других произведениях из запасников «Нового мира», которые так и не успел напечатать.

Один из самых верных журналу Твардовского авторов, Каверин не принадлежал к тем, кого этот журнал открыл, ввел в литературу, прославил. Вениамин Каверин стал известен еще в 30-е, когда Твардовский только входил в литературу. Хотя разница в возрасте у них была всего в несколько лет, (Каверин – 1902, а Твардовский – 1910 года рождения), они в ту пору воспринимались как представители разных поколений в литературе. У них, работавших в разных жанрах, были разные вкусы в искусстве, разное окружение, и, по словам Вениамина Александровича, не оказалось «никаких точек пересечения». По его свидетельству, до войны он относился к Твардовскому «с холодным интересом».

Нечто подобное, по-видимому, испытывал к Каверину и Твардовский. Я не помню в родительском доме книг этого писателя кроме одной, моей собственной – «Два капитана». Она, по сей день сохранившаяся, была подарена мне отцом с характерной надписью: «Валюше в ее библиотеку, хотя мы и расходимся во вкусах. А. Твардовский. Май 1946 г.».

Одно из ярких впечатлений моего предвоенного детства – чтение «Двух капитанов» в начале июня 1941 г. в доме, из которого отец ушел на фронт – на даче под Звенигородом, снятой у брата С.Я. Маршака – детского писателя М. Ильина. Там я набрела на комплекты журнала «Костер», где этот роман печатался и так неожиданно и огорчительно для меня прерывался: хотелось читать еще и еще, узнать дальнейшие судьбы героев. Отец моего увлечения не поддержал, но, как видно, и не забыл, подарив издание романа, вышедшее в первом послевоенном году. При всем «рас-

хождении во вкусах» подарок свидетельствовал о признании им «Двух капитанов» настоящей литературой.

Симптоматично, что назначенный редактором «Нового мира» в 1950 г., Твардовский среди тех писателей, кого хотел бы видеть в своем журнале, (а их оказалось не так уж много) числил и Каверина. В «Новом мире» печатается продолжение «Открытой книги», первая часть которой была опубликована здесь, когда редактором был К.М. Симонов. И вновь мы с отцом «расходимся во вкусах». Я, уже студентка, с огромным интересом читала новый каверинский роман, с нетерпением ожидая продолжения, а отец снова снисходительно посмеивался на моей увлеченностью, явно ее не разделяя. Правда, мне больше нравилась первая часть – там была какая-то тайна, которую как бы предлагалось разгадывать самому читателю. Эта недосказанность, загадочность, на мой взгляд, почти исчезла из второй части. Отец же считал, что роман стал «реалистичнее».

Вениамин Александрович вспоминает снисходительно – ласковую, весьма обидную для него оценку романа, данную Твардовским при встрече. Явно имея ввиду читательский успех, отразившийся и в письмах в редакцию, Александр Трифонович сказал: «Ну что ж! Почти «Джейн Эйр». Для многих авторов подобный отзыв редактора мог испортить отношения с ним навсегда. Каверин вряд ли учитывал, что своего рода оценкой романа Твардовским служила сама его публикация в «Новом мире». Широта души Вениамина Александровича проявилась в том, что он помнил добро больше, чем обиды. Он с благодарностью вспоминал, что Твардовский заинтересовался второй частью романа, после того, как первая подверглась в печати разносной критике, совпавшей с жестокой и грубой кампанией борьбы с космополитизмом. Сам приезд редактора «Нового мира» для переговоров о сотрудничестве в этот трудный период его жизни писатель воспринял как событие. Он, уже спустя годы рассказывая об этом, упомянет и светлый костюм Твардовского и его светлый взгляд и улыбку – ведь тот явился к нему поистине лучом света в тех беспросветных обстоятельствах, когда мысль о публикации продолжения романа никому бы не показалась реальной. Бездна надежды лишала способности работать, но после переговоров с Твардовским, Каверин снова с воодушевлением стал писать. (В.А. Каверин. Миг узнавания. // Воспоминания об А. Т. Твардовском. М., 1982)

Когда Твардовский снова заступил на пост главного редактора – Вениамин Александрович уже сам, по своей инициативе, пришел в журнал. По его свидетельству, все, что он писал в 60-е гг., он относил в «Новый мир». Единственный раз рукопись Каверина была здесь отклонена. Речь идет о романе «Двойной портрет» с его попыткой художественного анализа двух типов ученых – бескорыстного, увлеченного исследователя и расчетливого карьериста. Сюжет был весьма занимательный – писатель поставил своих героев в обстоятельства экстремальные. Вот это, по словам Каверина, и не понравилось редактору: он посчитал, что роману не хватает

психологической глубины, «той проникновенности, которая одна только и способна озарить рыцарство одних, устоявших, нравственно победивших, и низость других...». Думается, в глазах редактора роман достаточно резко контрастировал с военной и деревенской прозой «Нового мира», определявшей лицо журнала. Симптоматично, что зрелый и опытный художник, каким был к середине 60-х гг. Каверин, согласился с редактором и дважды переписал роман (в 1966 г. он был напечатан в журнале «Простор»).

Каверин выступал в «Новом мире» как разножанровый и многоплановый автор – с прозой, путевыми очерками, историко-литературными статьями. Эти последние Твардовский особенно ценил. Жанр их сам автор определял как «полувоспоминания – полуразмышления». Каверин предстает здесь исследователем-литературоведом и одновременно живым свидетелем того, о чем пишет. В 1960 г. он принес в «Новый мир» статью «Белые пятна», которую, пожалуй, и не смог бы предложить в ту пору никакому другому журналу. В ней рассказывалось о судьбах талантливых писателей, отторгнутых от литературы политикой партии: о М. Зощенко, чья жизнь оказалась сломанной постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 г., о Заболоцком, вырванном из литературы арестом и заключением, о Фадееве, яркая, талантливая личность которого были подавлена и искажена его служением власти. Но постановление ЦК еще не было отменено, а сам драматизм судеб героев очерка Каверина являлся препятствием к серьезному разговору о них. В печати все было строго регламентировано: предписывалось забыть то, что партия считала ненужным, и помнить только то, что ею разрешено. Ни автор, ни редактор не могли с этим смириться – память о прошлом они оба считали необходимой для настоящего и будущего. «Память приводит в движение совесть, а совесть всегда была душой русской литературы» – писал Каверин. Под этими словами мог бы подписаться и Твардовский, если бы сам от себя не повторял нечто подобное, отстаивая право памяти: «Напрасно думают, что память // Не дорожит сама собой, // Что ряской времени затянет // Любую бль, любую боль. // Что вдаль и так летит планета, // Теряя дням и верстам счет. // И что не спросится с поэта, // Когда за призраком запрета // Смолчит о том, что душу жжет».

Несколько лет подряд шла борьба редактора за статью Каверина, призванную заполнить ряд «белых пятен» в нашей литературе – вырвать из забвения то, что не должно забываться. По дневникам Твардовского видно, что он в течении этих нескольких лет не выпускал ее из виду, настойчиво продвигая в печать. А ведь одновременно в «политзагоне» «Нового мира» (так называл редактор непропущенные цензурой материалы) в это же время находилось около десятка произведений за которые тоже шла борьба: роман А. Камю «Чума», опубликовать который А. Т. стремился с 1960 г., «Театральный роман» М. Булгакова, очерк В. Гроссмана, вскоре к этому прибавились роман А. Бека «Сшибка», военные дневники К. Симона. и т.д. Но воюя за эти произведения, встретившие ожесточенное со-

противление цензуры, Твардовский не забывал и о статье «Белые пятна»: ее, запрещавшуюся Главлитом, регулярно объявляли в планах редакции и снова и снова вставляли в очередную номер журнала.

Статья оказалась и в поле зрения отдела культуры ЦК КПСС. Внимание к ней там обострилось в связи с 70-летием М. Зощенко. 29 августа 1965 г. Твардовский со слов своего заместителя Алексея Ивановича Кондратовича, вызывавшегося в ЦК, записал разговор с ним чиновника отдела культуры: «У Вас идет статья Каверина. – Не статья, а глава воспоминаний. – Все равно. Она ошибочная. Что ж это будет – в «Литературной» газете» будет одно, а у вас опять свое. Статья Каверина не вскрывает ошибок Зощенко, противоречит постановлению ЦК от 46-го года и т.д. – Но по этому поводу Твардовский писал в ЦК, ему ответили, что дело редакции, т. е. на ее усмотрение. – Почему же вы сочли, что «на усмотрение» это разрешение? ...А может быть, по усмотрению редакции лучше бы и не печатать». Все это заставило редактора предпринять новые хлопоты, отстайвая статью «Белые пятна»: она все же была опубликована, хотя и с некоторыми потерями и под другим названием (В.А. Каверин. За рабочим столом. // «Новый мир», 1965, №9).

«Борьба журнала за опубликование этой статьи стоит внимание историка литературы, – справедливо замечал Каверин в уже упомянутом «Эпilogе». История «Белых пятен» по-своему отражает непоследовательность и быстротечность так называемой «оттепели», а противостояние автора и редакции партийным «верхам» и цензуре служит своеобразной иллюстрацией строк Твардовского: «Кто прячет прошлое ревниво, // Тот вряд ли с будущим в ладу».

Журнал Твардовского становится своим для Вениамина Александровича. Он частый гость в редакции, дружен со многими ее сотрудниками, особенно с Владимиром Яковлевичем Лакшиным. Каверин в курсе редакционных планов, хорошо осведомлен о содержании портфеля «Нового мира» и о его «политзагоне». Он знал этот журнал не только как его автор и ревностный читатель, но и, можно сказать, «изнутри». Вот почему он восстал против несправедливых оценок «Нового мира» Солженицыным в его «Очерках литературной жизни» – «Бодался теленок с дубом».

По словам Вениамина Александровича (в том же «Эпilogе»), Солженицын в этой своей «нескромной книге» «показал непонимание значения «Нового мира», который существовал для всех истинных писателей, а не только для него». Отметил Каверин и бестактность мемуариста, и то, что он «несправедливо оскорбил Лакшина» – критика, самоотверженно защищавшего Солженицына от нападков партийной печати.

Для Каверина «Новый мир» 60-х гг. – целое общественное направление, некий общественно-литературный институт, «совокупность нравственных норм». Эти оценки, данные журналу в «Эпilogе», всегда будут противостоять появившемуся в последние годы легковесным суждениям о нем как журнале слишком советском, компромиссном, вполне вписавшемся

в тоталитарную систему. Мнение Каверина будет важно для будущего историка «Нового мира», потому что исходит от писателя, прожившего в литературе большую и честную жизнь и судившего о ней по гамбургскому счету.

Твардовского и Каверина, писателей, казалось бы, далеких друг от друга, сближала бескорыстная любовь к литературе. Каждый из них по-своему служил литературе, а не себе в литературе. Оставаясь разными по своим художественным пристрастиям, оба одинаково верили в высокое предназначение литературы. Каверин навсегда сохранил верность «старинным, но не потерявшим своего значения понятиям совести, чести, доброты, внимания к ближнему». Жить вне этих понятий, по его словам, писатель не имеет права. Как и Твардовский, он верил в великую очищающую и преобразующую силу литературы. Сейчас, в эпоху «рыночных отношений», эта вера многими воспринимается как ненужный идеализм, но без нее не бывает подлинного искусства – она характерна для наших классиков, также творивших при капитализме, – для Толстого и Достоевского.

Похоже, ныне гуманистические традиции русской литературы ослабли, признаны не модными. Думается, если что и сдерживает поток безыдейности и безвкусыя, пошлости и матерщины, ворвавшийся в литературу, то это наша старая литература, в том числе и советская, которую так спешно попытались похоронить сторонники вседозволенности. В одной из новомирских статей Каверин приводит слова Гоголя: «В литературном мире нет смерти и мертвые также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые». Это ответ писателя и тем, кто поспешил устроить поминки по советской литературе.

Твардовский, который Каверина много печатал, дорожа его сотрудничеством, в конце 60-х гг. почувствовал особую к нему близость, ощутив единомышленником. Это связано с одной акцией, которую оба, независимо один от другого, осуществили. Я имею в виду их письма к К.А. Федину, которые они, не сговариваясь, одновременно написали.

Первый секретарь Союза советских писателей был также членом редколлегии «Нового мира». Однако никогда ни в чем Федин не поддержал журнал в период его травли, особенно усилившейся к концу 60-х годов. В то время как Твардовский вел свою неравную борьбу за опубликование «Ракового корпуса» Солженицына (часть повести в начале 1968 г. была набрана), Федин, по сути, возглавил гонения на Солженицына, ставившие целью отлучить его от литературы. После заседания секретариата СП под председательством Федина в сентябре 1967 г., когда эта его позиция в деле Солженицына выразилась предельно ясно, редактор «Нового мира» решает обратиться к нему с письмом – воззвать к его совести и чувству ответственности за литературу. Твардовский, как следует из дневниковой записи 6 января 1968 г., видел в этом «большой смысл, чем в письме непосредственно наверх, – оно все равно там будет, но это будет обращение писателя к писателю на нашем писательском языке (любимая моя фраза!)».

Полагая, (судя по записи 13 января), что это его «прямой долг – никто так не обязан постоять до конца», Александр Трифонович и предположить не мог, что одновременно с ним, движимый тем же чувством нравственного долга, пишет секретарю СП и другой писатель, долгие годы считавший Федина своим другом. Уже отправив свое письмо по назначению, Твардовский читает письмо к Федину Каверина: Вениамин Александрович принес его в журнал в машинописной копии, оставив у секретаря главного редактора. С небольшими сокращениями Твардовский переписал в свой дневник этот, по его словам, «замечательный документ».

Письмо Каверина оказалось не просто созвучно тому, что писал Федину Твардовский – совпали даже формулировки некоторых важных мыслей. «Неужели ты не понимаешь», – обращался Каверин к другу молодости, – что самый факт опубликования «Ракового корпуса» разрядил бы неслыханное напряжение в литературе... открыл бы дорогу другим книгам, которые бы обогатили нашу литературу...» Далее Каверин называл произведения, ждавшие своей очереди опубликования в «Новом мире», а пока находившиеся в «политзагоне» – роман Бека, военные дневники Симонова. Именно об этом писал и Твардовский, убежденный, что опубликование «Ракового корпуса» «рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей «пробку», как это бывало на дороге, когда головная машина тронется... разрядило бы атмосферу глухой «молчанки», тяжелых недоразумений, неясности, бездейственного выжидания».

Редактор «Нового мира» призывал секретаря СП употребить свое влияние, чтобы содействовать напечатанию Солженицына и тем самым оздоровлению обстановки в литературе. Дистанция в возрасте, соображения дисциплины и тактики удерживали его от резких выпадов против «комиссара собственной безопасности», как обозначался Федин в дневнике Твардовского. Однако содержание было нелицеприятным. Редактор «Нового мира» напоминал, что в деле Солженицына Федин с Шолоховым «вместо того, чтобы показать пример достойного, чуждого мелким ведомственным соображением художнического отношения к художнику», склоняются к позиции тех, «чья неприязнь к Солженицыну понятна и удивительна».

Письмо Каверина – это тоже обращение «писателя к писателю», но не делавшее скидок на возраст и статус Федина, не связанное никакими тактическими соображениями. Оно отличалось прямоотой, право на которую, по словам Вениамина Александровича, дали ему «почти пятидесятилетнее знакомство, юношеская дружба». «Писатель, накидывающий петлю на шею другому писателю, – фигура, которая останется в истории литературы независимо от того, что написал первый и в полной зависимости от того, что написал второй», – предупреждал он Федина.

Написанные в разной тональности, но об одном и том же, эти письма Федину – проявление той «ответственной любви к литературе», о которой Каверин писал в своих новомирских статьях. Он видел в такой любви

признак подлинного литературного призвания, проявление таланта, чуждого всяких иных соображений, кроме профессиональных.

Прочитав письмо Каверина к Федину, Твардовский сразу же ему позвонил, предложив ознакомиться и с его письмом. «С такой теплотой, так горячо он еще никогда не говорил со мной», – вспоминает Вениамин Александрович об их встрече, когда они как бы заново узнавали друг друга. Их отношения могли бы развиваться уже по-новому, став более тесными: почва для этого была. Но оставалось всего два года до окончательной гибели «Нового мира», и для Твардовского они были наполнены непрерывными попытками отстоять журнал, поглощавшими все его душевные и физические силы. Круг общения уже не только не расширился, но сокращался – слишком много надо было успеть.

Мне и моей сестре очень дорого написанное Кавериним о нашем отце. Я позволю себе привести лишь несколько слов из того многого, что высказал Каверин о Твардовском, поскольку они характеризуют не только этого поэта, но и самого Вениамина Александровича – его представление о жизни в литературе: «Верую Твардовского прочно, потому что просто. Разбежавшись в тысячах литературных мнений, оно живет, как прикосновение души, счастливой особенным счастьем: ничего не желая для себя, отдать всего себя Родине и литературе»*.

Спасибо Вам, дорогой Вениамин Александрович, за эти слова, за Вашу верность – чувство, которое так ценил в людях Твардовский.

Алексей ГЕЛЕЙН

ВЫЖИВАТЬ И ЖИТЬ

...Этот вопрос друзья и знакомые, с которыми не виделся долгое время, задают, обычно, сразу же после нейтрально вежливого «как дела?» и «чем занимаешься?». «Ты «Норд-Ост» видел? Нет?.. Ну, потрясающе!..»**

«Норд-Ост» – ярчайшее событие театрального сезона, «Норд-Ост», на который зазывают и огромные стенды на улицах Москвы, и небольшие рекламные афиши в метро, «Норд-Ост» – билеты, достаточно дорогие, раскуплены на пару месяцев вперед, – это тот самый «Норд-Ост», – удачный коммерческий проект и, одновременно, теперь уже знаменитый мюзикл по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана».

* Сб. Воспоминания об А. Т. Твардовском, с. 333.

** Написано за полгода до трагедии 23 октября 2002 года.

А если мы с вами внимательно прочитаем афиши, то обязательно обратим внимание на приведенную в них и удивительную, по нынешним временам, цитату из рецензии в «Собеседнике»: «Эти три часа, что длится спектакль, вы будете гордиться тем, что родились и живете в России».

Парадокс, в эпоху нигилистов и циников, в эпоху разобщенности и взаимного отчуждения, переходящего, зачастую, во взаимную ненависть и взаимную жестокость, в эпоху двух чеченских войн, странным и печальным образом напоминающих пунические – для полной сходства не хватает еще одной войны, окончательной победы теперь уже *третьего Рима* и раздела Карфагена... Чечни то есть... Так вот, в это-то время романтическая история двух капитанов Ивана Татаринова и Сани Григорьева вдруг заставляет нас испытывать чувство гордости за Родину, за соотечественников, за самих себя.

Парадокс, но одинаково пылко «бороться и искать, найти и не сдаваться» клялись и советские пионеры, клялись и скауты конца перестройки, клянутся и гимназисты конца прошлого – начала нынешнего века. Парадокс, но в романе, писавшемся в самые кошмарные годы нашей не столь давней истории – с 38-ого по 44-ый, – «мы живем, под собою не чуя страны» – менее всего обязательных для официальной литературы тех лет страшных примет. Разве что – наиболее яркая – во взволнованном сообщении Розалии Наумовны, «которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона.

– Такой толстый, с усами – типичная шпионская рожа! Тьфу!»

Всего-то и доказательств, что усы, а – хватило! Кто бы мог подумать, что уже в наше время эпизод приобретет несколько иной смысл. Глядя на какого-нибудь политика, мы говорим: типичный обманщик и лжец! И окружающие соглашаются: да, похож! А говоря о высокопоставленном государственном чиновнике, мы утверждаем: взяточник и вор! И окружающие не спорят: по лицу видно! В доказательствах не нуждается! «Типичная шпионская рожа!»

Парадокс, но в наше время и в нашей стране есть необходимость только в одном: порядочному человеку ежедневно и ежечасно доказывать, что он – порядочный человек. И в этой неравной борьбе всегда хочется надеяться, что кто-нибудь, когда-нибудь – если что вдруг случится, – непременно докопается до правды, восстановит твое честное имя, накажет виновных и сумеет отстоять истину.

Именно это – по точному замечанию Владимира Яковлевича Лакшина – и сделало книгу столь популярной. В годы репрессий, да и в годы войны только и оставалось рассчитывать на такого вот неисправимого романтика, как Саня Григорьев. Верилось, что сможет он отыскать тебя – как капитана Татаринова – в безымянной ли солдатской могиле, в массовом ли захоронении на Бутовском полигоне, а отыскав, докажет всем: был ты, мол, хорошим человеком и забыт несправедливо...

«Кто изменит этому честному слову – не получит пощады, пока не сочтает, сколько в море песка, сколько деревьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель...» – этой «кровавой клятвой дружбы» клянутся друг другу в верности все петьки и саньки: вслух – пока маленькие, про себя – когда вырастают, ибо лучше, надежнее, вернее клятвы не выдуманно!

И конечно же, где-то здесь прозвучит и знаменитый девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», романтический предшественник более позднего, – жесткого, жестокого, реалистичного, – солженицыновского: «Не верь, не бойся, не проси!»

С солженицыновским – выживают.

С каверинским – живут.

Жить и выживать, – задачи разные.

Выживать, – это едва сводить концы с концами, не зная, чем накормить детей, непрерывно искать хоть какую-нибудь работу...

Жить – это плыть на «Святой Марии» к Северной Земле, открывать новые горизонты, обретать товарищей. Там, в этой романтической экспедиции, все кончится хорошо.

Здесь, в реальной жизни, Николай Антонович Татаринов выбьется в большие политические или государственные деятели, Катя выйдет замуж за Ромашку, а Ромашка не только не испугается выстрелить в Саньку, но еще и выстрелит при скоплении народа, ощущая полную безнаказанность...

Здесь, в реальной жизни, непременно, по ассоциации, вспомнится как итог и строка из песни Высоцкого: «Я обидел его – я сказал: “Капитан, никогда ты не будешь майором!”»

«Мы шли на риск, – писал капитан Татаринов, – мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». Оглядываясь на прошедшие последние десять-пятнадцать лет, многие из нас могут, и, наверное, не без основания, повторить слова капитана. Но еще более пророческими оказались другие слова Ивана Татарина: «Главная неудача – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно, – та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».

Печальное свойство всех романтиков во все времена – перепоручать организацию экспедиций к северным землям хитрым и циничным реалистам. Оттого и с продовольствием перебои, оттого и обшивка корабля ниже ватерлинии оказывается поврежденной топором: невзначай будто...

Оттого и вместо романтиков, скоро и навсегда уходящих в дальнее плавание, на материке остаются одни мародеры.

«Горько мне думать о всех делах, – писал капитан Татаринов, – которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение – что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли...»

Однако отчего ж мы все же испытываем чувство гордости за то, что родились и живем в России, не только когда смотрим мюзикл «Норд-Ост», но и когда просто читаем любимых с детства «Двух капитанов»?

Наверное, оттого, что и сегодня находятся и Сани Григорьевы, и такие люди, как капитан Татаринов. И всегда находиться будут...

А то, что гордиться удастся не более трех часов – пока идет спектакль «Норд-Ост», – так ведь и это, по нынешним временам, согласитесь, не так уж и мало!

Ольга НОВИКОВА

КАВЕРИН И ЖЕНЩИНЫ

Мог ли Каверин произнести нечто подобное сакраментальной и несколько избитой фразе «Эмма – это я»? Подсказку дает его признание в том, что лучшим своим произведением он считает роман «Перед зеркалом». Почему не «Скандалист», не «Два капитана», не «Открытая книга»?

«Скандалист» – мужской роман, женщины там выступают как объекты довольно банального донжуанства главного героя Некрылова, автобиографический же герой Ногин ищет свое место между тремя дамами – филологией, поэзией и прозой.

В «Двух капитанах» Катя – образ трогательный, вполне традиционный и асексуальный, обусловленный спецификой жанра. Это настоящая и верная подруга героя. В любовном треугольнике Ромашка – отнюдь не соперник, а по-сказочному коварный злодей, так что Катина верность особенному искушению и испытанию не подвергается. «Два капитана» – роман по своей сути юношеский (и соответственно «девичий»), в этом его культурная уникальность, но глубокое исследование природы женственности достигнута Кавериним в более поздних произведениях.

В «Открытой книге» достоверность характера Тани Власенковой достигается благодаря отрефлектированному недостатку подлинной женственности в ней. Не случайно проходящее через весь роман ее сопоставление с Глафирой, в которой женственного начала больше, чем личностного.

Было бы неразумно оценочно сравнивать Таню Власенкову с Лизой Тураевой. Кто лучше – это, как говорится, дело вкуса. Но хотелось бы заострить внимание на той полноте самопроявления, которая отличает поведение, мышление и чувствование главной героини романа «Перед зеркалом». Это именно то, чего так жаждала Таня Власенкова и чего она достичь не смогла. Здесь пролегает один из внутренних сюжетов писательских поисков Каверина, гораздо более тонкий, чем закрепленный за ним многими критиками тематический участок с табличкой «жизнь людей науки и искусства».

Характер Лизы Тураевой – это каверинский ответ на долго занимавший его вопрос о сущности женственности. Ответ новый и самостоятель-

ный. Для Каверина женственность – это не таинственная инфернальность, не верность семейному очагу, не преданность «спутницы» и «помощницы», а предельная реализованность человеческой индивидуальности. Этот ответ не заменяет, конечно, других художественных решений данной темы, а дополняет их, образуя вместе с ними некую единую «метасистему», но понять и пережить его необходимо для правильного восприятия романа.

Не будем вдаваться в философский и антропологический аспекты данной проблемы. Тезис о том, что вековое стремление человека к реализации собственной личности находит свое предельное воплощение именно в женских натурах, – конечно, может быть оспорен и даже опровергнут сторонниками противоположной точки зрения. Конечно, это художественная гипотеза, плодотворно работающая на каверинский сюжет. Если искать аналогии в литературе прошлого века, то вспоминается, конечно, Вера Павловна из романа «Что делать?». Именно в этой героине, по утопической мысли Чернышевского, наиболее полно раскрывается та свобода человеческой личности, которая является конечной целью революционной деятельности Рахметовых, Кирсановых и Лопуховых. Мысль эта в экспериментальном романе Чернышевского скорее заявлена, чем реализована и по историческим причинам – опыт женской эмансипации был слишком невелик, – и по причинам чисто творческим (Чернышевский как писатель-практик не очень был способен к воссозданию «диалектики души», которую он как теоретик открыл первым на материале Толстого). Так или иначе – это один из вопросов, завещанных русской классикой нашему столетию в расчете на конкретные ответы, на реальные сюжетно-образные доказательства.

«Я, думаю, мой милый, о любви... Она охраняла нас от пошлости. Мы всегда были в ее руках, и это медленно, но неуклонно учило нас нравственности, то есть, в сущности, вкусу. <...> Она заставила нас жить, вглядываться друг в друга, а ведь люди вообще плохо понимают друг друга... Кроме тайны любви есть еще и тайна личности, и хотя мы, кажется, не утаили друг от друга ни единого движения души – она осталась для нас почти непроницаемой. Но так и должно быть, потому что усилия проникнуть в тайну личности есть те же усилия любви».

Сопряжение понятий *любви* и *личности* обозначает связь исканий Каверина с контекстом русской прозы XIX века. Сопряжение понятий *нравственности* и *вкуса* – это то новое, что принес в разработку любовной темы век двадцатый. Таким единым этико-эстетическим пафосом проникнуты «Мастер и Маргарита», «Дар», «Доктор Живаго». В этот ряд по-своему входит и роман «Перед зеркалом», с тем своеобразным оттенком, что носителем творческого начала выступает героиня-женщина. Искусство – это то, что помогает в самых трудных условиях остаться и женщиной, и личностью.

Вот так примерно можно очертить главную мысль в пределах темы «Каверин и женщины». И это не так уж экстравагантно, если вспомнить, что, выступая в советское время перед большой телевизионной аудиторией в

Останкине, Каверин считал возможным признаться, что в молодости ему нравились стервы, а теперь женщины мягкие, красивые, домашние и хозяйственные. Булат Окуджава в одном из интервью сказал, что Каверин любил две вещи – правду и женщин. И, конечно, Каверин не достиг бы той художественной правдивости, за которую его все любят и ценят, не размышляя постоянно о женщине как таковой, о том, что Окуджава назвал «ваше величество женщина», имея ввиду не литературных героинь, в ту реальную женственность, которую встречает художник на своем жизненном пути.

Я принадлежу к тем, кого Каверин заразил своей негромкой внутренней смелостью. Когда позади уже было редактирование его собрания сочинений, во время нашей с ним прогулки по Переделкину он посоветовал, что у него не складывается характер героини нового романа «Наука расставания». И вдруг, совершенно для меня неожиданно, попросил набросать для него описание подлинно женственного существа. Я испугалась, но выполнила задание. Оказалось, что со стороны Каверина это была своеобразная провокация, поскольку затем последовал совет: пишите прозу! Фрагмент о женственности в доподлинном виде Каверину не пригодился, но вошел в текст моего первого произведения под названием «Женский роман», где за фигурой писателя Кайсарова, фигурой безусловно положительной (при этом я стремилась, чтобы она не была сусальной) во многом стоит Каверин.

Каверин говорил: «Я работаю соборно». Совокупность пишущих и читающих он обозначал довольно своеобразно – близким ему людям он говорил: «Мы с вами дворяне», – имея в виду кровную причастность к литературе, которая сама по себе возвышает человека независимо от его социального и имущественного положения. Пока мы пишем и читаем друг друга, литература не кончится.

Нина КАТЕРЛИ

УЧИТЕЛЬ

Если б меня спросили, удостоилась ли я каких-нибудь наград за свою писательскую работу – литературных премий или громких хвалебных отзывов, – я бы ответила: да! И эта награда – почетное звание ученицы Вениамина Александровича Каверина. Он присвоил мне это звание в последнее десятилетие своей жизни и добросовестно выполнял роль учителя.

Свою функцию учителя он видел в том, чтобы внимательно прочесть то, что принес ему ученик, а потом нелицеприятно высказать ему свое мнение, не сглаживая острых углов, не боясь обидеть, но всегда очень

точно и конкретно показывая, что получилось, а что, по его мнению, – нет. И что он бы сам сделал, чтобы получилось.

Учителем Каверин был строгим. Помню, я послала ему одну свою повесть, уже напечатанную, и, как я считала, удачную. Обычно, прочитав то, что я посылала или привозила ему в Переделкино, Вениамин Александрович звонил мне. Но тут неделя шла за неделей, а звонка не было. И, не вытерпев, я позвонила сама – «узнать, как здоровье». К телефону подошла Лидия Николаевна. Я услышала, как она говорит: «Веня, тебя просит Нина Катерли». И его недовольный голос: «Сейчас будет очень неприятный разговор». И разговор был для меня, в самом деле, неприятным – повесть Каверину не понравилась, точнее, категорически не понравилась концовка. Это была так называемая «открытая концовка», я не дала однозначной оценки главному герою – кто он, какой – хороший или плохой, как я отношусь к нему. Все это я оставила на усмотрение читателя. Но Вениамин Александрович таких вещей не любил, о чем и сообщил мне довольно резко, по ходу разговора все больше раздражаясь. Высказав все, что хотел, он помолчал и уже совсем другим тоном спросил: «Ниночка, вы не обиделись?.. Знали бы вы, как кричал на меня в свое время Юрий Николаевич (Тынянов). Он не просто кричал, он однажды швырнул мою рукопись вдоль стола так, что все листы разлетелись в разные стороны». Я сказала, что, конечно, не обиделась – хотя подумала, что переделывать повесть не буду, оставлю, как есть. Каверин любит законченные сюжеты, а мне здесь нужен именно «открытый» финал. Я так подумала и никогда не переделывала эту повесть. Но... я не люблю ее, хотя она, возможно, и не хуже других.

Помимо таких вот литературных разборов моих сочинений, одним из важнейших моментов (если не самым главным), были для меня разговоры с Кавериним, которые он вел, не имея цели учить, – просто говорил о том, что его самого занимало, часто употребляя выражение «нравственная позиция». Именно Каверин заставил меня усвоить, что ложь, предательство, трусость убивают любой талант, что «Литература, как писал Стивенсон, должна быть написана с добрым намерением».

Перечитывая сегодня то, что писал Каверин в последние годы жизни, я вижу, что вопрос о нравственной позиции писателя, вообще человека культуры, оставался для него самого важнейшим до самого конца.

В своей статье «Взгляд в лицо», вошедшей в сборник «Литератор», изданный в 1988 году, Каверин пишет: «Сталкиваясь с беззаконием, бесчестьем, трусостью, рассчитанной лезть, карьеризмом, обманом доверия, культура испытывает болезненный удар, а накопление этих ударов приводит к деформации нравственности». И дальше: «Самый болезненный удар... производит могущественная властительница – “богиня ложь”».

Так он думал, говорил. Так жил. Ему удалось, прожив долгую жизнь, избежать трусости, лжи и карьеризма и в том, что писал, и в том, что делал. В этом секрет его творческого долголетия, в этом главный урок всем нам.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ КАВЕРИНА

В шестидесятых годах миновавшего столетия при Московском отделении Союза писателей существовала Комиссия по работе с молодыми авторами. Вениамин Александрович Каверин был ее членом, и вот так случилось, что именно ему попали в руки мои первые литературные опыты: несколько рассказов, которые я принес в Комиссию и которые он должен был «разбирать» на одном из ее заседаний. Никогда не забуду потрясения, которое я тогда испытал, узнав, что это тот самый писатель Каверин, автор знаменитых «Двух капитанов»!

Для меня эта его книга была в полном смысле слова культовой. Я впервые прочитал ее в детстве, воспитанником Суворовского училища, в первые послевоенные годы. Мы, суворовцы, читали ее с упоением, для нас она стала откровением, таким же бесспорным, каким для верующих являются «Евангелия». Это не преувеличение. Надо же знать, что это было за время – конец 40-х и начало 50-х годов, и знать условия, в которых воспитывались «сталинские соколята». И вот мы читаем книгу, из которой ясное ясного следует – а такова убедительность ослепительных образов Сани Григорьева, Кати Татариновой и членов ее семьи, Ромашова, Николая Антоновича и прочих персонажей, – ясное ясного следует, что правда жизни – вот она, в логике поведения этих персонажей, таких, какими их вывел Каверин, в результатах жизненного опыта этих людей, а не в том, чему нас учили по идеологизированным школьным программам. Нас учили оценивать жизнь, людей по классовому признаку, эти же персонажи руководствовались в жизни общечеловеческими понятиями добра и зла. Не от того человек плох или хорош, что он «красный» или «белый», а от того, каков он по натуре, каков в любви, дружбе, как понимает красоту, человек ли он чести или бесчестен, романтик по натуре или приземленный, утробный человек и тому подобное.

Так мы, дети суровой эпохи тоталитаризма, ничего не знавшие о том, что такое Бог, только силою искусства, благодаря искусству учились жить по заповедям, по которым стараются жить люди веры. И мы действительно учились так жить. Среди моих товарищей-суворовцев я не знаю ни одного негодяя, мошенника, злодея. Многие же, едва ли не половина моих однокашников, вскоре после окончания Суворовского училища вовсе ушли из военной службы – по нравственным соображениям, и немало достигли в разных областях гражданской жизни.

Это я к тому, что совсем необязательно верить в Бога, чтобы прожить достойную жизнь. (В скобках замечу: вовсе не бесспорна формула, будто коли Бога нет, то все дозволено. Верующие могут так думать, их право. Но можно и так думать, что «закон нравственности в нас» выработан са-

мим человечеством, в практике общежития, а не дарован свыше. Во всяком случае, современные научные представления о первотолчке, о происхождении жизни, живого из неживого, о самозарождении живого позволяют так думать).

Вообще надо особо отметить роль литературы, книги в нашем советском (постсоветском) менталитете. Наше счастье, что тоталитарный режим в нашей стране оказался не столь последовательным, как, например, в Камбодже при Пол Поте. Он оставил в отечественном культурном обиходе элементы старой русской культуры, в том числе ее классическую литературу. Допускал порой и такие, в сущности, крамольные с точки зрения режима книги, как «Два капитана». Очевидно, что в немалой степени и потому рухнул тоталитарный режим, что допустил эту слабость. Отечественное общественное сознание не смогло вобрать в себя ложь искусственных идеологических догм, отторгло их.

Так вот, для меня встреча с автором «Двух капитанов» оказалась событием из ряда вон. Это было чудо. Такое же точно, как если бы вдруг довелось встретиться наяву с кем-то из евангелистов.

Другим чудом было то, что мы стали друзьями. Друзьями, несмотря на разницу в возрасте и то, что я был как бы его литературным учеником, а он – учителем. Он и впоследствии оставался моим первым профессиональным читателем, ему первому я отвозил в Переделкино новые свои рассказы, повести, и получал полноценный критический разбор их. Еще одним чудом было то, что мне он доверил написать в соавторстве с ним сценарии телевизионных фильмов по некоторым его книгам, в том числе сценарии многосерийных фильмов по романам «Открытая книга» и, что мне было особенно дорого, «Два капитана». Это была прекрасная школа мастерства. Более щедрого подарка учителя ученику я себе не представляю.

И позже, когда я стал писать историческую прозу – романы о народниках, эта связь «учитель-ученик» продолжалась. При этом она как бы протянулась во времени, через Вениамина Александровича – к Юрию Николаевичу Тынянову, который для самого Каверина был высшим литературным авторитетом и, естественно, учителем и о секретах мастерства которого он мне много рассказывал. От Тынянова – исторического романиста я с признательностью принял формулу: «Начинаю там, где кончается документ». Этому правилу я следовал в своих книгах о народниках, в том числе и в недавно вышедшем романе «Отступник» о Федоре Раскольникове, тоже бывшем народнике. Я бесконечно благодарен моим учителям за их уроки, за щедрость, с какой они отдавали себя литературе.

Жаль, что сейчас как бы уже не в ходу благотворная традиция связи между литераторами разных поколений. Писательские связи распадаются. Остается только надеяться, что русская литература и нынешнее лихолетье переживет.

ЧУВСТВО ЧЕСТИ

Она же верует, что несть
Спасенья в пурпуре и злате,
А в тех немногих, в коих есть
Еще остаток благодати.

Аполлон Майков

Я сознаю, что решающий поворот в моей жизни произошел потому, что я послал стихи Вениамину Александровичу Каверину. В стародавние времена, когда отец учился в Институте истории искусств, а молоденький Каверин иногда читал лекции, они были знакомы, но об этом я не стал упоминать в письме – просто послал стихи. Реакция была молниеносная и цепная: В.А. показал мои произведения нескольким литераторам, с мнением которых считался, в том числе обратился к наиболее заметным тогда поэтам – Вознесенскому и Евтушенко (от Евгения Александровича также пришло сочувственное письмо). На дачу в Переделкино я ехал с душевным трепетом – все-таки я был не только «писатель», но и «читатель». И написанное самим Кавериным знал. И тогда, как и сейчас, мне больше нравились ранние вещи, особенно рассказы и повести, вошедшие в первый том собрания сочинений. На меня действовала прелестно-головоломная фантастика «Мастеров и подмастерьев». Уже тогда я понимал, что «Два капитана» – объективно не совсем правдивая книга (ведь о том же Крайнем Севере существуют и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, лишенные какой-либо героики)*. Но, тем не менее, книга чистая и возвышенная (и я думаю, несмотря на смену времен, она еще долго будет жить, как живет Дюма рядом с Гюго и Стивенсон в соседстве с Диккенсом). Мое поколение в подростковом возрасте не могло сопротивляться неподдельному обаянию этого романа. И, например, мой приятель Александр Радковский перенес увлечение «Двумя капитанами» даже на посредственную экранизацию, поехал в Ленинград, разыскал исполнительницу роли Кати – кажется, у них завязался свой роман...

Между прочим, в Переделкине (с которым позже было связано столь многое в моей жизни) я ехал впервые. По своей растяпистости проскочил две лишние станции, заблудился, опоздал к назначенному часу (имелось в виду, что я приду отобедать) и явился вымокший под дождем и залепанный грязью колхозных полей. В.А. и его домочадцы оглядели меня недоуменно. Может быть, их шокировала такая неорганизованность, не красящая приехавшего к мастеру молодого автора, который по опреде-

* Конечно, прозу Шаламова я прочитал позже, но произведения на «лагерную» тему, в том числе солженицынские, уже были доступны.

лению должен быть четок, точен, обязателен... Но разговор состоялся, и длительный. И понятно, это было важнее обеда. Я думаю, Каверина обрадовало то, что я послал ему, прозаику, именно стихи, он любил поэзию и, возможно, не изжил в себе до конца остаток поэтического честолюбия. И ведь начинал он все-таки со стихов. Из кипы перепечатанных на неважной портативной машинке сочинений он отобрал несколько, больше ему понравившихся. Хвалил, обсуждал те или иные строчки и образы, говорил, что спорил о моих стихах с несколькими известными писателями. Углубляться в эти его тогдашние оценки и тем самым в собственные, далеко отбежавшие от меня, нынешнего, строчки я не буду (хотя каждое слово памятно). Но стоит вспомнить любопытный момент. Когда Лидия Николаевна (жена Каверина, сестра Ю.Н. Тынянова и сама – одаренная беллетристка), вошедшая в комнату в конце нашего первого с В.А. разговора, сказала, что опасно так перехваливать молодого автора, Каверин рассмеялся и заявил, что совсем не опасно: «Уж как меня хвалили в моей молодости. И кто! И Горький, и Замятин, и... Нет, ранняя похвала не испортит, если есть сила воли. Губит писателя совсем другое».

Зашел общий разговор о состоянии поэзии. В.А. почтительно и с любовью говорил о давно ушедшем Заболоцком, который, очевидно, был для него мериллом. Из живых современников выделял Тарковского: «Казалось, что после смерти Ахматовой поэзия умерла, но вот всё же появился Тарковский, и жизнь поэзии как-то продлилась». Сказал, что из того, что пишут молодые, кроме моих текстов ему еще понравились стихи некоего Савченко. Что это – разносторонний литератор, сочиняющий и стихи, и прозу, создающий биографические книги. Познакомиться с этим любимцем Каверина мне не случилось, а из стихов, которые В.А. показал мне, спрашивая моего мнения, запомнились строчки о женщине, которая быстро встаёт «на длинные капроновые ноги»*.

Вообще В.А. был деликатен, но кого-то вдруг ругал...

С некоторым смущением В.А. показал мне свой собственный отроческий опыт – странноватое стихотворение о побеге Калиостро, почему-то из пистолета отстреливающегося от погони. Я взял в руки эти желтые листки, которые некогда держал в руках Юргис Балтрушайтис – кажется, в 1919 году В.А. приносил это самое стихотворение на суд к возвышенно-угрюмому символисту, который в те дни был занят совсем другими делами и мыслями и отнесся к романтически настроенному юноше безучастно. А я с молодой самоуверенностью (быть, может втайне, не менее эгоистически-безучастной) снисходительно одобрил – помню усмешку В.А. Недоверчивую.

Каверин был в высшей степени внимателен и доброжелателен. Должно быть, учитывалось и то, что я искал советов В.А., общения с ним, в то

* Недавно, на вечере, посвященном столетию Каверина, я познакомился с В.И. Савченко. Прошло более трех десятилетий, и он забыл свои ранние стихи.

время, когда он был в безысходной опале и ощущал боязливость некоторых старых знакомых, и познал все уныние советской изоляции. Произошла катастрофическая история с публикацией на Западе личного, полного упреков, письма к К.А. Федину, предавшему «Новый мир». Предполагалось, что эта публикация – провокация самих органов. Ведь письмо В.А. сам положил в почтовый ящик Федина, а свою копию никому не показывал. Бессмертна «зубатовщина»! Очевидно, я вызывал доверие у Каверина, но, впрочем, все равно он был открыт нараспашку, так как в тяжбах с властью уже зашел достаточно далеко (может быть, даже дальше, чем первоначально имелось в виду). С некоторой горечью (или это мне показалось?) В.А. упомянул, что еще недавно был членом правления Союза советских писателей (конечно, если о чем-то он при этом сожалел, то лишь об утраченной возможности кому-то помочь в печатании). Своей внезапно откровенной оппозиционностью он гордился и, пожалуй, был ею счастлив, как обретенной свободой от давно опостылевшей ноши. Оппозиционность эта имела известные пределы. Все-таки он испытывал некоторое уважение к Ленину, к идеализму кого-то из ранних большевиков, истребленных Сталиным: «Что такое сталинизм, мы рано поняли!» Однако течение событий несло его все дальше... Рассказывал, что незадолго до «фединского» скандала побывал в Праге на литературной встрече. Там уже шло сильное брожение накануне «пражской весны», и какой-то дерзкий чешский критик задал советским писателям провоцирующий вопрос: «Возможно ли создание в СССР объективной биографии Пастернака?» И В.А., как будто ожидая такого вопроса, с удовольствием взял слово и заверил собравшихся в том, что он всей душой за такую биографию, и уже давно пора ее написать...

А в дни наших ранних встреч В.А. подвергался травле. Постепенно компания заглохла, иссякла, когда стало ясно, что активным диссидентом Каверин не будет, а так, сидит в Переделкине и позволяет себе высказывать свое мнение. Но все-таки в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов книги известнейшего писателя изымались из планов и укусы газетной критики были нередки. Однажды в одну из первых встреч я застал В.А. за чтением свежего номера «Литературной газеты», где был напечатан огромный и наглый пасквиль, подписанный фамилией наемного критика Михаила Синельникова. «Мы знаем, что это – не вы!» – предупредительно сказала Лидия Николаевна. И все же я почувствовал, что мое имя изгажено, а фамилия обесчещена. Мои чувства к проклятому тезке и соименнику легко вообразить, хотя понятно, что такое совпадение – чистое недоразумение (или же это – продуманная горним синклитом насмешка Провидения: ему за его грехи, мне за мои грехи?..)

У Каверина был очень выраженный характер. Безоглядно-отважный, независимый. Щедрость, самоотверженность, сострадание. Вот что написано в дневнике Шварца о Вениамине Александровиче: «Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Кавери-

на». Но при этом собственную жизнь он рассматривал весьма критически и не видел в своих поступках никакой доблести. Сказал мне: «Подумайте, в наше время величайшим благородством считается простая порядочность!» Он не имел преувеличенного мнения и о достоинствах своих произведений. И, если «Два капитана» все-таки считал удачей, то «Открытую книгу» называл «средним» романом. Опубликованный роман Булгакова «Мастер и Маргарита» (впрочем, очевидно, В.А. знал его еще по рукописи) был для Каверина чем-то вроде откровения в грозе и буре. С печалью размышляя о собственной неудаче, он любил литературу намного больше, чем себя и свое творчество. Мне кажется, что лихорадочно (это ощущалось, несмотря на обычную замедленность движений) В.А. искал в прошлом какие-то возможности, к сожалению, упущенные. Однажды я сказал, что из его вещей мне больше всего нравится повесть «Художник неизвестен». В.А. со мной согласился: «Да, я у себя эту вещь особенно ценю». Замечу, что прототип безумного художника – конечно, поэт Николай Заболоцкий (хотя есть в образе живописца и филоновские черты). Личность этого самородка настолько поразила Каверина своей оригинальностью, что Николай Алексеевич навсегда стал главным героем его книг. Считаю, что Заболоцкий в одном случае – художник, в другом – капитан, в третьем – биолог... Любовь к Заболоцкому, внушенная всей семье, может быть, способствовала даже тому, что Заболоцкие и Каверины породнились. У Вениамина Александровича и Николая Алексеевича – общие внуки.

«Ведь память приведет в движение совесть, а совесть всегда была душой русской литературы». Эта фраза – из воспоминаний В.А., над которыми он работал неутомимо и в дни нашего первого общения. И никаких иллюзий о значительности своей литературной работы он и тогда уже не имел: «Если бы я писал, как Бунин! Но этого нет, и в нынешнем своем положении я могу только любить русскую литературу и служить ей». Так он мне говорил своим тонким и твердым, рассудительным и колеблющимся голосом. Настало время для трезвого прощания с привычной, усвоенной слепотой.

Российский литератор Вениамин Каверин увидел как бы пепелище родного дома. Поэтому в его воспоминаниях так суров суд над Шкловским и Фединым и так беспощаден приговор, вынесенный Алексею Толстому и Валентину Катаеву. Каверин словно бы не хотел замечать в трусливых душах талантов и дарований, судил человеческую слабость и человеческую подлость. Должно быть, не всегда был прав. Но неизменно искренен и бескорыстен. Лично к Шкловскому, герою романа «Скандалист», несмотря на многие застарелые конфликты и недоразумения, он все-таки относился хорошо. Чуть насмешливо: «Он отрекся от всех своих ранних открытий, а теперь о нем на Западе написаны вагоны книг, и он не в силах отречься от этой своей славы открывателя!» К Валентину Катаеву, однако, относился откровенно неприязненно. В одной курортной газете (кажется, вышедшей в Юрмале) еще в советское время позволил себе зая-

вить интервьюеру, что негодяй не способен написать хорошей прозы (я передаю общий дух беседы, по ходу которой была упомянута катаевская повесть «Алмазный мой венец»).

Идеалом была судьба Пастернака. Особую слабость В.А. испытывал к поздним пастернаковским стихам, написанным здесь же, в Переделкине. Пейзажи, выхваченные из этой природы. Состарившейся душе была родственна и предсмертная обреченность, исходившая из «пейзажных» стихов. С восхищением В.А. повторял строчку: «Лист смородины груб и матерчат». Упивался этой «матерчатостью», как бы ощущал плотность ускользающего листа, шевеля пальцами.

И вот он писал книгу об истории советской литературы. О первом съезде Союза писателей, вселившем такие надежды в легковверных и оказавшемся на деле ловушкой и явлением сталинской коллективизации «единоличников»... О 37-м годе, блокаде, серии послевоенных истребительно-воспитательных кампаний. О судьбе каждого из «Сералионовых братьев», о Горьком, Тынянове, Маяковском, Солженицыне, Твардовском. О деградации Шкловского и Тихонова, предательстве Федина, сопротивлении Шварца, мученичестве Зошенко, мужестве Пастернака... И вместе с тем это было обнародование результатов строгого и безжалостного следствия, которое давно велось в глубинах собственной души. Он решился завести речь о самых болезненных духовных и литературных поражениях.

Какими-то суждениями о себе и своих друзьях он делился со мною*. С молодым, в общем посторонним человеком. Но не совсем посторонним, ибо все-таки я занимался или имел намерение заняться делом, для него кровно близким. Откуда был этот «самобичующий протест», этот дух непокорного правдоискательства? Я думаю сейчас о цеховом кодексе литературной (выветрившейся в советские годы) среды. Думаю и об этой военнотрудовой кантонистской породе, поколениями тянувшей солдатскую ляжку. Об этой привычной верности присяге, о честности и чувстве чести. От кантонистов была дисциплина. И это военное понимание тяжелой обстановки, в которой надо устоять.

Сколько их было в русской армии! И не только солдат, но ведь и офицеров, не зря Николай I бывало крестил в белорусском местечке разом 300 детей, и все отдавались в армейские училища... Сын военного капельмейстера Зильбера с горькой усмешкой говорил: «Я – русский! А уж когда пошла вся эта туфта, что ж, пожалуйста, я – еврей! И все-таки я дорого дал бы, чтобы сейчас у моих, поступающих в вузы внуков в паспорте было записано: “русский”».

* Конечно, особое чувство товарищества и родства было у него к «Сералионовым братьям», они были для него, самого младшего из них, именно «братьями». И все-таки он говорил: «С самого начала было ясно, кто есть кто. Кто такие Зошенко и Всеволод Иванов, и кто Федин и Никитин».

Его литературные мнения и, между прочим, как раз оценки поэзии (поэзии прошлых эпох. ибо с новейшей каждому было легче ошибиться) не казались мне безукоризненными. В.А. несколько пренебрежительно относился к Ходасевичу, которого когда-то лично знал. Может быть, влияло на оценку именно это обстоятельство, так вот и для Николая Чуковского Владислав Фелицианович остался в памяти не великим поэтом, а участником совместных походов на деревенских гулянках в Бельском устье, да еще трусоватым, нервным человеком – где уж тут в стихи вчитываться.

Мне кажется, Каверин, как читатель русской поэзии, слепо, механически шел в фарватере формалистов. Усвоил пристрастия петроградцев, недолголюбивших Лермонтова и во главу угла ставивших Тютчева и Боратынского. Конечно, возможно и такое мнение, я сам его разделял в отрочестве и в юности. Но я изменился, хорошо это, или худо. А В.А. нет. Мне кажется, что Каверин недооценивал прозу Леонида Добычина. Теперь видно, что это – один из главных авторов советской эпохи, осуществившийся, как прозаик европейского масштаба, вопреки обстоятельствам советской власти. Наверное, недооценил, но... если бы совсем не заметил этой силы, не стал бы в мемуарах так подробно рассказывать о судьбе уничтоженного режимом писателя.

В.А. мог заблуждаться и наверняка заблуждался в своих пристрастных литературных мнениях, но попросту не разглядеть способностей он не мог. А характер был таков, что эстетическая оценка не опережала этическую. От литературы он ждал бесстрашия и социальной остроты. Переказывая разговор с Грэмом Грином: «Почему во всех ваших книгах действие – не в Англии?» «А что писать об Англии, это – стоячее, болото, в нем ничего не происходит!», В.А. добавил: «А в России столько всего происходит, есть, есть о чем писать!»

Мы прогуливались по улицам писательского Переделкина, ходили по перелескам. О некоторых встречах письменниках он высказывался без большого пиетета, с иными не здоровался. Уважительно говорил о Солженицыне: «Вот, поверьте: у меня – большой литературный опыт: две лучшие книги XX века – «В круге первом» Солженицына и «По ком звонит колокол» Хемингуэя».

Сознаюсь, Каверин не во всем меня убедил, я волен не соглашаться с его суждениями, но уж если вспоминаю, обязан сохранить их, как беспристрастный свидетель. Дело здесь не в литературных спорах. В конце концов, не существенно (только для меня важно) даже и то, насколько лично я с годами оправдал (или не оправдал) его ожидания и затраченное время. Конечно, он жил только будущим словесности и однажды произнес стертое, но точное слово «эстафета». Однако больше всего его волновало не то, что и как я собираюсь писать (ведь этого и я сам не знал), а как буду жить, занимаясь литературой: «Если будете писать, как *им* надо, то скоро получите квартиру в Лаврушинском переулке и дачу в Переделкине!»

Причастность к определенной советской касте тяготила и раздражала. Пытаясь отмежеваться, он сказал, что на постройку дачи не брал ссуды в Литфонде, что она куплена на гонорары. Всегда был брезглив и щепетилен, боялся взять лишние деньги, проявить излишнюю материальную заинтересованность: «Я не аферист!»

...Мы остановились под большой сосной.

– Сколько вам лет? – спросил В.А.

– Двадцать два.

– Я познакомился с Константином Симоновым, когда он был в вашем возрасте. Был очень практичный, ловкий юноша. Позже он изложил мне свою гениальную теорию поочередного взятия пяти Сталинских премий. И взял шесть... Позже еще Ленинскую.

В голосе Каверина звучала надежда, что люди моего литературного поколения попытаются прожить жизнь как-нибудь иначе.

В рекомендации, которую В.А. дал мне для вступления в Союз писателей, среди других похвал, видимо, обычных для такого документа, была фраза, что мне свойственен «нравственный самоотчет». Это было лестно и обязывало. Но ведь часто мы что-то пишем о других, имея в виду себя...

Он старался мне помочь, что-то сделать, что было в его силах. Неожиданно предложил написать песенки к его «Школьному спектаклю». Я ужаснулся, мол, этого не умею – не мой жанр. Но В.А. доказывал, что, если я имею в виду стать профессиональным литератором, не стоит пренебрегать ни одним жанром. Конечно, он просто хотел мне дать возможность заработать. В итоге я все-таки написал куплеты, довольно дурные. Надеюсь, что они отпадут в случае, если когда-либо еще будет ставиться эта пьеса, (что вряд ли).

В принципе он ждал от меня большей разносторонности. Почему-то ему казалось, что рано или поздно я перейду на прозу (может быть, еще в тех, ранних стихах можно было углядеть ее задатки – не знаю). Он старался выведать, нет ли у меня, наряду со стихами, каких-либо рассказов. Чтобы порадовать старого сюжетчика, я придумал историю, которая, по моему мнению, была в духе раннего Каверина. Александр Сергеевич Пушкин в портовом кабаке знакомится с молодым американским матросом, приехавшим в Петербург на торговом судне. Они вместе выпивают, и американец, узнав, что имеет дело с местным литератором, делится своими впечатлениями от удивительного города. От памятника его основателю. И говорит, что видит этого чудесного Медного всадника движущимся, скачущим. То есть дарит Пушкину сюжет для его величайшей поэмы (заметим, сюжет, в основе оказавшийся бродячим, ибо «Венера Ильская» Мериме уж явно написана не без пушкинского влияния). Они сдружились, русский и американец, которому завтра на рассвете надо отплывать, возвращаться в Северо-Американские Соединенные Штаты – в порт приписки Саванна. Вдруг американец видит под ногтями у русского лиловатую синеву, признак негритянского происхождения, и говорит, что такого че-

ловека у них на Юге продали бы с публичных торгов. А сам он любит негров... Зовут этого молодого американского матроса Эдгар Аллан По... Выслушав мое вдохновенное вранье с некоторым любопытством Каверин пожал плечами. Ведь все это было только лишь каркасом чего-то, вещь еще надо было написать.

С Кавериним я встречался много раз. Помню его на вечере памяти Заболоцкого. Соглашающимся с Липкиным, что покойный Заболоцкий был великим поэтом. В сущности, такое заявление не требовало внутреннего усилия, это было и собственное очень давнее убеждение. В.А. читал куски из поэмы «Рубрук в Монголии» и восторженно говорил о построении этой вещи, о скупом-изысканном отборе тем для ее глав, о концентрации и высокой экономии, которая в такой мере возможна именно в поэзии, а не в прозе.

Годы мелькали. Мне радостно, что В.А. успел увидеть новое небо. Успел выступить на мандельштамовском вечере в ЦДЛ. Здание, помнившее столь многие «проработки», банкеты, походы, заседания литературно-уголовной мафии и дебоши, все ходило ходуном и сотрясалося от грохота невероятных слов. По внутреннему радио ЦДЛ передавалось стихотворение Мандельштама, ставшее эпиграфом ко второй части каверинских мемуаров, его «Эпилога»:

*Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.*

Худой Каверин всё худел, сутулился и слабел на глазах. Уже не было на свете Лидий Николаевны и многих близких. Но, думаю, В.А. работал до последнего дня. Однажды зимой мы шли с А.П. Межировым по угасающей, послезакатной переделкинской улице и столкнулись с Кавериним, который возвращался с прогулки. Из рта его вылетал пар, В.А. астматически задыхался, хватал воздух губами и жадно вытягивал шею. А на лице у его также заморившейся пожилой спутницы, вдовы видного философа, угадывалось вечное женское желание женить на себе этого мужчину («Закон имея естества, Она желала сватовства...») Но вскоре он умер.

P.S. Как все-таки привязано к географии имя Вениамина Каверина! Есть немало мест на земном шаре, где оно невольно вспомнится. О, не только в Эфиопии, Китае и Египте, где ему не суждено было побывать! И не только в тихом Пскове и в обмораживающе-завораживающем Заполярье или в южных степях с недоистребленными чумными грызунами и прогоревшими зерносовхозами... В городе Бишкеке, в бывшем Фрунзе, лишенном древних достопримечательностей (да, и откуда им взяться на старой, незначительной железнодорожной станции Пишпек! Только дома «столыпинских» русских, побеленные, с резными зелеными деревянными наличниками...), я любил приходить к воротам глухого двора, где жил в ожи-

дании ареста гениальный лингвист Поливанов («Драгоманов») и вспоминал первый роман Каверина... В последние годы часто приезжаю в Петербург по служебным делам и сразу отправляюсь к родственникам на Черную Речку. Еще рано, на работу можно не спешить, а по этому городу приятно двигаться пешим ходом. И вот я прохожу довольно большой отрезок до Петроградской стороны. Заглядываю и на Бармалееву улицу. Названную когда-то в честь купца, владельца доходных домов, заурядную и обветшалую, но как-то вошедшую в историю литературы. Отсюда, конечно, и разбойник Бармалей из «Доктора Айболита». Здесь по прихоти автора состоялся и «Конец хазы»...

*В ковше Каверинскую хазу
Дочитывая на лету,
Лететь в трамвае разноглазом
На Николаевском мосту.*

Это – из стихов Марии Шкапской. Современники, в том числе, намного более опытные, пожилые, сразу почувствовали, что молоденький Каверин пришел в беллетристику со своим миром.

Еще летят неслышные трамваи по этим улицам. Почему-то я вспоминаю забытые строчки забытой поэтессы двадцатых годов Людмилы Поповой, что-то поёт издали, и по привычке «ветер врет о Леньке Пантелееве».

Наталья ЗЕЙФМАН

ЛЮБОВЬ К ДВУМ КАПИТАНАМ

Не помню, когда я начала читать «Двух капитанов», но это было издание 1947 года, которое отец подарил старшему брату, со строгими, даже мрачноватыми гравюрами Е. Бургункера (может, они казались мне такими после картинок в детских книжках). Зато помню, как лет в 15, на обычный папин вопрос: «Что ты читаешь?» – ответила: «Двух капитанов», а на грозное: «В который раз?», не различив реакции, – «В восьмой» (значит, знала и помнила, в который...). И получила озабоченное: «Так ты в жизни ничего не успеешь!» Папа склонен был считать меня глупой девчонкой, спорил, что ни за что не получу золотую медаль, а когда получила и помахала перед его носом коробочкой, – обнял и сказал: «Ну, значит, другие еще глупей тебя».

Та старая, любимая, затрепанная книга (жалко реставрировать – пропадет очарование зачитанности) теперь со мной в Израиле, и на ней надпись: «Милой, дорогой Наташе, моему другу и помощнику с любовью,

В. Каверин. 20/IV. 72». В сентябре 1971 г. я пришла к нему разбирать его архив. А папа умер в октябре, не узнав об этом замечательном событии в моей жизни, потому что я боялась огорчить его: опять я теряю время, вместо того, чтобы работать над диссертацией. Он был прав, когда сердился (после очередного концерта или спектакля я на цыпочках вхожу в дом): «Сколько можно этих развлечений, ты должна защитить себя в жизни». Много раз я кланялась его памяти: научная степень защищала меня от унижений и кормила мою семью.

Когда Мариэтта Чудакова неожиданно и решительно заявила, что Каверину нужно разобрать архив, и кому, как не мне, сделать это – смешно было отпираться, хоть я пыталась, – мы сохранили эту мою работу в тайне от всех (разумеется, кроме моих мамы и мужа) и, прежде всего, от заведующей отделом рукописей Библиотеки им. Ленина Сарры Владимировны Житомирской, нашей с Мариэттой начальницы. В этом качестве она была заинтересована в моей полной служебной отдаче, а как негласный руководитель моей диссертации и скрытый доброжелатель (обе мы знали, что ей не стоит откровенно покровительствовать подчиненной-еврейке) заинтересованно следила за ее ходом. О тайности дела Вениамин Александрович был предупрежден заранее и строго. В моем крошечном дневнике на листике «сентябрь» беглая запись: «Договоренность с Каверинным. Папе велела не говорить». Там же, ниже: «Жит<омирская> насаждает с работой и диссертацией». Мы с Саррой Владимировной давно стали друзьями, и кто тогда мог предвидеть, что ее внук Лева женится на Кате, внучке Каверина, и в моей жизни снова сойдутся два этих столь значимых для меня имени.

Да так, без огласки, оно было и правильной: время плохое, а архив есть архив и мало ли кому он может быть интересен. В моем закутке в архивной группе (мариэттин лучше прослушивался из соседних таких же; и у меня стоял мягкий стул середины теперь уже позапрошлого века: она провела на нем изрядное время жизни) Мариэтта готовила меня к худшему: «Ты оставь свои моральные правила и простодушные замашки и там (в ГБ) на все вопросы отвечай неведением...». Дома на антресолях у меня потом пряталась полная редакция ее книги о Зощенко и еще кое что, доверенное ею для сохранности, – смешно, конечно, потому что наша дружба – с приходом ее в Отдел рукописей – была всем очень заметна. С Каверинным Чудаковых связывало в эти годы издание книги Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино». В «Эпilogue» – воспоминаниях, которые он писал тогда в стол (полностью они опубликованы после его смерти), он говорит, что об этом издании «вот уже четвертый год приходится хлопотать с еще небывалым напряжением (для меня, во всяком случае)». Из этих скобок глядит на меня Мариэтта – это она привычно взяла на себя основные напряжения. Я знала о них в подробностях, прикрывая в рабочее время всю ее необходимую и страшную беготню по высоким кабинетам («только что вышла»). Мариэтта прибегала замученная и, как обыч-

но в плохие моменты, давась смехом, рассказывала, как трудно приходится В.А., которого щитом надо выставлять в кабинетах вперед, «подпирая сзади кулаками». Порядочность не позволяла ему трусить. Моменты, когда надо было перебарывать страх, когда мучила боязнь сделать подлость, когда он ломал себя под гнетом внутреннего редактора, были постоянно интересны ему как мемуаристу.

Какими бы ни были предварительные отзывы Мариэтты о моей надежности (тем более важные после недавней отвратительной кражи из хранившегося в доме архива Ю.Н. Тынянова), но то немедленное доверие, с которым Каверин встретил меня, странно мне и сейчас. Мариэтта привела меня на квартиру в Лаврушинском, представила и, конечно, тут же убежала. Из тесного квадратного коридора (слева маленькая комната Лидии Николаевны, ее не было дома) он провел меня в следующую комнату налево, побольше, – в свой кабинет. Напротив, из коридора был вход в просторную столовую. Мы стояли посреди кабинета, он внимательно оглядел меня (я, как могла, перебарывала робость, усиленную тем, что передо мной любимый писатель). Тут и я увидела его: сухощавый и, как мне показалось, высокий... совсем не старый! Не помню перехода – он стал объяснять, что бы он хотел от меня, жаловаться, что архив запущен, и хохотать, объясняя, до какой степени (он хохотал мило, как никто). До такой, что им нельзя пользоваться, а как раз задумана книга, основанная на переписке (будущий «Вечерний день»). Мы обратились к письменному столу, старинному, с двумя тумбами, занимавшему почти всю левую стену комнаты (между столом и окном – узкий книжный шкаф, напротив – кровать и книжный шкаф пошире, в торце – открытый стеллаж с книгами и папками, а ближе к двери на полу целая гора – привезенная из Переделкина для разборки часть архива). И он сразу стал выдвигать ящики левой тумбы: «Осторожней, тут внизу письма Солженицына». Попросил передать ему, если наткнуь, куда-то заложенные («забыл, куда, и это только между нами») сберегательные книжки. А потом извлек запрятанную среди книг на стеллаже красную папку: «Тут маленькая повесть, я хотел бы, чтоб Вы прочли и сказали, как она Вам. Детям она не понравилась, они против ее опубликования». Я прочла ее, она назывались «Неверность», и меня, воспитанную на «Двух капитанах», где любовь не подразумевает страсти, удивило и восхитило в ней описание плотских радостей, и не только любовных. Помню, как героиня, придя с холода на свидание голодной, со вкусом рвет белыми пальцами булку и розовую ветчину. Эту сцену я нашла позже в каком-то другом месте: В. А. использовал кусочки несостоявшейся повести.

Мы немножко поговорили об условиях работы. Я ходила на службу каждый день, мои 8 часов стоили тогда 4 рубля. Два вечера в неделю я буду приходить на 4 часа и получать за них вдвое больше: 8 рублей. Через месяц на первую каверинскую зарплату было куплено толстое шерстяное одеяло. Я и сегодня им укрываюсь. Условились о размере и фор-

ме папок и обложек для укладки материалов, их надо было заказать. Незадолго до того Каверин передал в ЦГАЛИ (Архив литературы и искусства) небольшую часть архива, в основном, материалы к «Открытой книге». Остальное передавать передумал – решил отдать к нам, в Отдел рукописей. Благодаря Житомирской, да уже и Мариэтте, репутация нашего архива была тогда высока. Мариэтта, к примеру, описывала в то время архив М. Булгакова, переданный нам Еленой Сергеевной.

В следующий раз помню себя уже в Переделкине. Я сошла на платформе Мичуринец и ищу ул. Горького, 15. Недалеко за забором среди заросшей соснами земли, без признаков садово-огородных увлечений хозяев, низкая простая дача с мезонином (уже тогда блекло-сиреневая?), вход, по-осеннему, не прямо через застекленную террасу (большущая, с обеденным столом), а сбоку, через кухню. Знакомлюсь с Лидией Николаевной; она маленькая, подвижная, изящно нарядная; и они с В.А. вскоре уходят. Я остаюсь одна за столом с бумагами, не оборачиваюсь, не разглядываю картин на стенах – работаю, не разгибаясь. Начинают чернеть окна. Они возвращаются, и В.А. из-за моей спины наклоняется над столом. А я аккуратненько укладываю в уже надписанную обложку синюю гимназическую тетрадку с поэмой «Савонарола» – первые опыты будущего писателя! Вдруг он выхватывает тетрадку, вглядывается: «Что за чушь!» и у меня на глазах разрывает ее. Я даже вскрикнула.

Шесть лет спустя, – я уже давно не работала у него, но мы перезванивались, – его голос: «Наташенька, можно я все-таки открою Вашу тайну – я пишу о Вас в предисловии к той самой книге и хочу назвать Ваше имя» (помнил мои запреты!). И вот как в «Вечернем дне» он описывает меня и эту сцену: «...Так в моем доме появилась молодая женщина, которую хочется назвать «тишайшей» – с такой бесшумной, но железной настойчивостью вмешалась она в судьбу моего архива. Ее зовут Наташа Зейфман, она работает в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Мягкое упорство, за которым мне сразу почудилась неотразимая воля, как добрый дух, стало витать над заброшенными бумагами, вдруг получившими то особенное значение, которое был способен угадать в них только истинный архивист. Фантастическая трагикомедия в стихах, с чертями, алхимиками и монахами средневековых монастырей (школьная тетрадь, испи-санная старательной рукой гимназиста), показалась мне особенно глупой, я разорвал ее крест-накрест. Наташа ахнула, в ее больших детских глазах показался неподдельный ужас. Прошел год, и я, к своему удивлению, нашел эту тетрадь в отдельном конверте, надписанном по всем правилам архивного дела».

У меня были ключи от дома в Лаврушинском, потому что Каверины больше жили в Переделкине. Одна целый вечер в пустой квартире; чтобы отдохнуть, ходила пить чай на кухню, велено было брать что-нибудь из холодильника, – или разглядывала картины в столовой. Здесь и на даче было много Биргера. Содержание письменного стола открывало нового

для меня Каверина: я ведь тогда не знала, что он был среди авторов «Черной книги (О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками...)». Не знала, что одним из немногих он отказался подписать письмо известных в стране евреев к Сталину с предложением о высылке на Дальний Восток всего народа – так могло бы завершиться «дело врачей» (в «Эпилоге» есть описание этой истории). Из ящиков стола я доставала и укладывала в обложки тексты выступлений и писем Каверина: он защищал Солженицына, настаивал на публикации «Ракового корпуса», написал обвинительное письмо К. Федину после 4-го съезда писателей (помнится, снес вниз по лестнице и передал своему бывшему другу – они с Фединым жили в одном подъезде). Он первым после многолетнего замалчивания произнес имя Булгакова (ему было приятно, что Елена Сергеевна это ценит). А из ящиков на полу я вынимала черновики, черновики, черновики – в том числе и «Двух капитанов». Как он работает, я увидела ясно, когда разбирала материалы к роману «Перед зеркалом»: первыми в папках лежали копии подлинных писем его будущих персонажей, и увлекательно было следить, как Каверин делает из них литературу. Он любил этот свой роман, и я рада была, что мне он тоже нравился: похвалилась, что прочитала второй раз, – чтобы порадовать его. Еще были письма, они раскладывались по крупным темам, а внутри по алфавиту имен адресатов и корреспондентов. Вдруг выпали два письма: женщина утверждала, что с нее написана Катя Татарина, это у нее были свидания точно в указанном автором романа месте и времени, и просила вспомнить ее, отозваться (я показала письма В.А., он задумался и никого не вспомнил: ее сбивала иллюзия подлинности).

Поездки в Переделкино я приравнивала к выходным. Работала в маленькой комнате-библиотеке, заваленной архивом. Если обернуться, – за окном сосны. В. А. в своем кабинете сидел лицом к соснам. Каверины привыкали ко мне, я – к ним. В декабре 71-го у меня записано в дневнике: «У Кав<ерина> была – он обнял при выходе: «Моя милая». Мариэтте про меня: «Это мое утешение». Долго допытывался, хорошо ли он придумал писать воспоминания в виде эссе» (так написан «Эпилог»). Скоро при встрече он стал обнимать меня со словами: «Родная моя!» И он умел целовать руку – это было маленькое событие. Сердечность его манер каждый раз наново трогала.

В одном случае я наткнулась на отсутствующий взгляд, – когда говорила об отце в связи с историей пенициллина. На даче часто звонил телефон, Л.Н. кричала: «Веня!» и часто я слышала его радостное: «Зиночка!» Это была Ермольева, жена старшего брата В.А., Льва Зильбера, Влащенко из «Открытой книги». О выделенной ею культуре пенициллина мой отец говорил: «грязный, аморфный, в чашке, не годился для производства». Именно потому, что он не годился, отец, химик-фармацевт, в 1947 г. в составе небольшой группы был послан в Англию и Америку покупать производство пенициллина, работал с Чейном (Флеминг и Чейн – созда-

тели лекарства), вернулся в 1948, был арестован на гребне борьбы с «космополитизмом», перенес полтора года следствия, ничего не подписал, выжил и вот теперь умер в 60 лет – догнали инфаркты, начавшиеся в тюрьме. Меня не слушали: Зиночка было святое (тогда еще я не знала, с какой самоотверженностью она спасала Зильбера, его сажали три раза). И «Открытая книга» давно жила своей жизнью, ничего нельзя было менять. Я поняла, что, увы, неинтересна и неуместна со своей историей об отце и больше к ней не возвращалась.

Иногда, если я приезжала в выходной день, В.А. приглашал меня с собой погулять – лес был рядом. Иногда сидел со мной в библиотеке, среди бумаг, которые я разбирала, и отвечал на мои вопросы: помогал. С трех до полпятого он всегда спал, поскольку издавна мучился ночной бессонницей. Изредка, чтобы пройтись, провожал меня до станции. Мне хотелось ущипнуть себя: «Это я? С Кавериним?» Не могла привыкнуть. И за дружеской манерой наших отношений с моей стороны скрывалось постоянное, напрягающее меня чувство почтения к нему. Я была шокирована, когда через несколько лет, приехав на дачу, увидела новую помощницу В.А., вышедшую к столу в бигуди под косыночкой (она жила в доме, помогала немножко и Лидии Николаевне по хозяйству), и потом слушала, как она в подробностях рассказывала им обоим про серьги, которые кто-то привез ей из Прибалтики. Я же, когда не забывалась, старалась взвешивать каждое слово, чтобы не занимать В.А. чепухой, – очень, к сожалению, утомительная и мешающая общению задача.

Конец моей работы описал Каверин в «Вечернем дне»: «И вот наступает торжественный день, когда широкий стеллаж, как хозяин, появляется в кабинете и занимает в нем почетное, заметное место. Девять высоких полок, и на каждой ряд зеленых папок-коробок с квадратными наклейками на корешках: «Произведения 20-х годов», «Письма писателей», «Письма разных лиц», «Письма иностранцев», «Письма читателей», «О чтении», «Письма сумасшедших» – я стал собирать их по просьбе знакомого психиатра» Когда «Вечерний день» вышел, он подарил мне его с надписью: «Дорогой Наташе Зейфман, которая незримо присутствует в каждой строке этой книги, – с неизменной любовью от признательного В. Каверина. 2/Х. 80».

Я ушла в 1973 г. Меня душили свои дела: авралы на службе, необходимость закончить, наконец, диссертацию, и, главное, – надо было заняться собой вплотную: почти 5 лет я ходила по врачам, а детей все не было. Близкая подруга догадалась отправить меня к эндокринологу и – свершилось. Я растерялась от счастья. Получив анализ с печатью «Положительный», бросилась к окошечку: «Это хорошо или плохо?» «Как для кого», – буркнула тетка. Но я еще не испила чашу: при первом же осмотре меня на скорой отправили в больницу. Вхожу я полумертвая от горя в палату, вижу непонятных мне абортниц и только одно милое лицо. Я к нему – и мы вцепились друг в дружку. Ее звали Маша, она была женой Андрея Хржа-

новского, уже известного мультипликатора. Воображаю, сколько ей пришлось выслушать от меня!

Короче, Маша с младенцем оказалась летом на даче в Переделкине, подробности от Кавериных, и он спросил у нее, нет ли кого-нибудь, кто бы рассказал, как лечится женщина, если у нее долго нет детей. Такая беда должна была постигнуть героиню его нового романа. Маша ответила: «Знаю», – и назвала мое имя. «Это же моя Наташенька!» – закричал В.А., по словам Маши, и тут же мне позвонил. Был конец лета 1975 года.

Он ждал меня на платформе, обнял, взял под руку (пятимесячное пузо еще удачно прикрывалось кофточкой, но все равно было видно), мы пошли к лесу и гуляли часа два, разговаривая, в основном, о романе и о моих мытарствах, а потом, дома, сели в его кабинете, и он стал записывать то, что хотел знать в деталях: например, точное название Института акушерства и гинекологии, где он, как туда попасть. Кое-что из тех моих рассказов вошло потом в «Двухчасовую прогулку». В.А. понравились сны о моих еще нерожденных детях. Вот я родила девочку, держу ее в конвертике на руках, а она из конвертика поет мужским хором из «Китежа». Я в восторге кричу мужу: «Иди скорей, это же твое любимое!» Он в юности пел весь Китеж наизусть – на муку окружающим. В.А. выбрал два таких сна, по-моему, не лучших, и анекдот о муже: задолго до рождения детей я, конечно, стала собирать библиотеку детских книг, но все же, в основном, для маленьких, а он однажды купил университетский учебник физики для 1-го курса (во сне бы тогда не привидилось, что сын, отслужив в израильской армии, будет учиться на иврите в Иерусалимском университете).

И опять мы расстались. Под Новый год у меня родилась дочка, я послала Кавериным нашу с ней фотографию, пояснив в письме: «Причина моего долгого молчания перед вами». Еще через год муж сфотографировал меня с ней *перед зеркалом* – порадовать В.А. напоминанием о романе с этим названием.

Шли годы, мы изредка виделись, он дарил мне новые книги с милыми надписями. В конце декабря 1979 родился сын. 31-го поздравил радостный Каверин: «Я так хохотал, когда Мариэтта мне сказала. Это такой подарок для меня к Новому году». Никак не находилось подходящего имени, я пожаловалась на это В.А.: «Назовите Вениамином» – засмеялся он. «Не могу, В.А., боюсь», – ответила я (только что звонила мамина приятельница тетя Фаня: «Я слышала, вы хотите назвать ребенка Илья. Наташа, что ты, ведь это очень еврейское имя»). Он всерьез обиделся: «Ну тогда назовите Васей!» Я пролепетала, стыдясь: «У меня уже есть Ася...» Вениамином, в честь деда, Катя слевой назвали своего второго сына, а моего, почти по совету Сарры Владимировны (правда, она предлагала Леона, но имя казалось таким чуждым!), совсем отчаявшись, мы назвали без всякой причины Леонидом, хотя это было дико – еще жил Брежнев (в переводе на иврит – Ариель, Божий лев, тот, что на гербе Иерусалима – ох, уж эти намеки судьбы!), и здесь его зовут Лео.

Я бывала у Каверина нечасто, он потихоньку старел, хотя оставался так же по-мужски обаятелен. Он все время писал, компоновал и выпускал новые книги, с 1980 г. выходило второе после 30-х годов издание сочинений. В дарственной надписи мне на первом томе он написал: «...грехи моей беспутной молодости». Шутка не без горечи: перечитав в томе его раннее, я снова оценила точность отзыва Горького о таланте молодого Каверина: «Его надо очень любить, очень беречь, – это цветок оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почве литературы русской распускается столь странное и затейливое растение». Сберечь, Каверин и сам знал, не получилось. Но получились «Два капитана» – книга о чести в бесчестное время, и книги о верности науке и многое еще, что ценили читавшие его поколения. Он продолжал писать до конца, но в поздних вещах огорчал налет вымученности; что-то и до сих пор у меня не прочитано...

В 84-м умерла Лидия Николаевна, ее положили рядом с могилой брата, Юрия Николаевича Тынянова, на Ваганьковском. Гроб был темно-синий, украшенный золотом, торжественный – подарок от земляков из Резекне: она умерла во время Тыняновских чтений, проходивших в ее родном городе. Страшно было смотреть, как гроб вертикально подняли, чтобы втиснуть его в тесное пространство. И толпе было тесно, мы стояли на чужих могилах. Из моего дневника: «А. Рыбаков и Мариэтта говорили над гробом. Тихо, медленно. Могильщик поднес В.А. землю: «С лопаточки возьмите, Вениамин Александрович!» Он отошел от могилы и произнес: “Спасибо всем, кто пришел. Она Вас всех любила (и заплакал чуть-чуть). – Ну, пойдете. Чего же теперь”». Это место трудно найти. В.А. с сыном вскоре пошли и заблудились, он вернулся домой в изнеможении.

В Переделкине появилась Анна Моисеевна – вести хозяйство. Я старалась приезжать на дни рождения, а так... вечная занятость. В 1985 г. я привезла ему книжку своего декабриста барона Штейнгейля, которого пестовала чуть ли не 7 лет, и в дарственной надписи: «Любимому писателю...» воспроизвела тот диалог с отцом, которым начала этот свой мемуар (Который раз? – Восьмой). Он засмеялся своим чудным смехом.

Лето 1986-го, звонит Каверин: «Наташенька (не помню, чтоб он называл иначе), я больше не могу: я Алексея прогнал. Найдите мне, пожалуйста, еще кого-нибудь». До этого он несколько раз жаловался на лень и безалаберность последнего своего секретаря, которого, к сожалению, я сама ему порекомендовала по просьбе коллеги, заверившей, что он, молодой филолог, мечтает работать у Каверина. Я обещала подумать. Стала думать – ну нет вокруг меня пригодных филологов! а почему, собственно, обязательно филолог? Нужен кто-то ответственный, расторопный и добрый к нему, чтобы помогал с перепиской и продолжал заниматься архивом. И я догадалась – кто это. Вернее перед глазами вдруг появилась недавняя сцена: моя подруга Лиля Белинская стремительно идет по большому коридору с детским горшком в вытянутой руке и так сосредото-

чена, что уже не видит нас с мужем, а мы замешкались у дверей, прежде чем окончательно передать ей смену у постели нашего шестилетнего сына, перенесшего тяжелейшую операцию.

Звоню ей и, как когда-то Мариэтта мне, объясняю, что надо помочь Каверину. Она, как когда-то я, говорит, что не филолог (мы с ней кончали исторический) и что ни за что: боится. Я кричу: «Дура, ведь это Каверин!» Уговариваю поехать и познакомиться, а потом уж решать. Привожу ее в Перedelкино. Мы с В.А. целуемся. Лиля чинно садится («главное не огорчиться, если не понравлюсь, – написано на лице, – да мне-то ничего и не надо», а я злорадно вспоминаю себя в той же ситуации). В.А. с явным удовольствием ее разглядывает. Я скоро уезжаю, чтоб не мешать их деловому разговору, спокойная за него: она остается.

Лиля облегчила ему 3 последних года жизни – и как секретарь, и как преданный друг. Ему уже трудно было одному, и они ездили вдвоем – в Псков, на Рижское взморье. У меня есть фотография: они стоят у самой волны, В.А. хохочет, на обороте: «Дорогой умнице Наташе – на память о нашей разлуке, с неизменной любовью. В. Каверин. 2/VIII. 87». И еще одна, там же, но на следующий год: он стоит на фоне моря и держит под руки Лилю и Мариэтту.

В его 85-летний юбилей мы были у него. Приезжала Катя, привезла в подарок В.А. большую белую пушистую птицу, наверное, страуса: он ходил, высоко поднимая ноги, и мотал головой, а Катя учила деда, как для этого надо двигать веревочками. Весной его последнего года я привезла к нему своих коллег – очень просили, и больше его не видела. В конце апреля 1989 г. ему внезапно стало плохо, его увезли в больницу, в реанимацию, а это, по жестким советским правилам, означало, что человек умрет один, без близких.

Гроб стоял на сцене Большого зала ЦДЛ. При входе, в зале и в почетном карауле было много моряков в парадной черной форме с блестящими пуговицами. Хотелось смотреть на них, это было прошлое Каверина. Дальше не помню... На Ваганьковском я испугалась, увидев яму: мне показалось, что ее вырыли прямо на аллее. Могила и вправду несколько на нее наступает. Говорили замечательные слова. Яков Гордин закончил прощальные речи надеждой, что если есть что-то за пределом нашей жизни, то теперь В.А. и Л.Н. снова встретятся... И вдруг!.. какая радость в эту минуту: из конца аллеи, мимо нас всех и свежего холмика, к выходу, пошла четким бодрым шагом колонна тех военных моряков, что были в ЦДЛ. Сверкали золотые трубы, гремел «Варяг», и толпа не пошевелилась, пока звуки марша не стихли за воротами кладбища. Это было как знаменитое «Найти и не сдаваться!» из моих «Двух капитанов». Каверин был бы доволен.

До моего отъезда в Израиль мы с Лилей каждое 2-го мая ходили на кладбище, сажали цветы на могиле. Она сначала была неухоженной, потом появилась темная плита с надписью в виде факсимиле В.А. – беглой

подписью, в конце невнятной. Мы сажаем цветочки, а зади голос: «Мам, смотри, тот Каверин!» (девочке лет 15). Мать отвечает: «Это не он – видишь, написано: Каверен». Пришлось распрячься и заверить: он, он. Однако приятно было, что для девочки он «тот». Моя дочь в этом же возрасте и в то же время зачитывалась «Двумя капитанами», и мы с ней перебрасывались названиями глав, кто больше: «Прошу тебя об одном – не верь Николаю», «Непременно увидимся, но не скоро»... А теперь я стесняюсь сказать ей: «Я вижу тебя с малышом на руках»...

Одиннадцатый год, как мы в Израиле. Недавно я снова взяла в руки своих «Двух капитанов». Надо было подтвердить, что я не ошиблась, когда уверенно заявила, что в романе ни разу, даже в эпилоге, когда поднимают тосты за победу, ни разу не упомянуто имя Сталина. Мне не поверили: «Может, у тебя позднее переиздание?» Я тоже вдруг засомневалась: действительно, – в то время, и все же Сталинская премия?.. Прочла эпилог. Нету. Стала листать назад – нету, и вдруг почувствовала, что меня снова засасывает, как в детстве, когда на призыв идти есть, я, скорчившаяся бочком в кресле, кричу: «Сейчас! Только до точки!», а сама хлюпаю носом, так мне жалко Нину Капитоновну, когда она идет к буфету пить валеиановые капли.

Маале-Адумим, Израиль

Анна СМЕРНОВА

«ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА...»

«Понятие культуры многозначно. Не будем пытаться выразить его какой-нибудь одной формулой. Можно сказать, например, что культура – совокупность общественных, умственных и производственных достижений человечества. Но в такой формуле бесследно исчезает как раз то, о чем бы мне хотелось поговорить, – исчезает развивающееся внутреннее состояние человека, которое является отражением его духовного мира...». Так начинается одна из последних программных статей В.А. Каверина – «Взгляд в лицо», вошедшая в книгу «Литератор»...

Нет, я не собираюсь анализировать каверинское творчество ни с этой, ни с какой-нибудь другой точки зрения. В дни, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Вениамина Александровича, о нем говорили, писали, вспоминали не только как о писателе, на книгах которого выросло не одно поколение, но и как об одном из самых благородных людей нашего времени, для которых честь и достоинство оставались главным внутрен-

ним стержнем личности, критерием взаимоотношений и с литературой, и с людьми, встречавшимися на жизненном пути. В подтверждение этому достаточно вспомнить его романы и публицистику – статьи, дневники, письма, мемуары. Мне же хочется рассказать об одном частном случае, вспомнить эпизод, невольной участницей которого я оказалась.

Четверть века назад – в конце 70-х – начале 80-х годов – пришло время возвращения из небытия многих забытых имен... В «Новом мире» – кажется, в 1969 или 1970 году – были впервые опубликованы письма и дневники Марины Цветаевой. Потрясенная личностью поэта, я сыграла моноспектакль «Час ученичества», поставленный по этим письмам и дневникам, а также, конечно, по ее прозе и стихам. Так совпало, что в те же годы друзья подарили мне новый роман В. Каверина «Перед зеркалом». Прочитав его не один раз, я заболела желанием перенести на сцену удивительный образ реально жившей художницы, которую никто у нас еще не успел узнать и которая явила поистине высокую жизнь человеческого духа. Потом из рассказа Вениамина Александровича я узнала, что в 60-е годы один из его знакомых, почтенный ученый, принес ему письма женщины, с которой переписывался в течение 25 лет – с 1910 по 1935 год ее смерти. То были письма Лидии Андреевны Никаноровой, в романе Елизаветы Тураевой, большую часть жизни прожившей в эмиграции. Они и легли в основу романа «Перед зеркалом».

Долго, очень долго, раздумывая и сомневаясь, писателю и режиссеру Армену Зурабову и мне удалось, наконец, сделать сценическую версию романа-исповеди, В нее, а затем и в спектакль вошли стихи – «зонги» (они не пелись, но звучали как зонги), разряжавшие ритм прозы и как бы комментирующие этапы и события жизни героини. Это были стихи одного из замечательных поэтов военного поколения Юрия Левитанского. Их библейская мелодика, как мне казалось, подчеркивала, дополняла, усиливала конкретность писем и, обобщая сюжетные мотивы, сливалась с атмосферой времени, в котором жила героиня», перекликалась с душевным состоянием актрисы, которая вела доверительный разговор с залом, вовлекая зрителей в размышления «о жизни, о смерти, о славе».

Моноспектакль вышел, и я играла его в разных городах с огромной радостью и даже успехом. Но вскоре из управления по защите авторских прав мне сообщили о письме В.А. Каверина, запрещавшего мне, неизвестной ему актрисе, играть спектакль по неизвестной ему инсценировке. Будучи в Москве, я настойчиво пыталась объяснить с Вениамином Александровичем по телефону, но он ничего и слышать не хотел ни в оправдание, ни в защиту спектакля.

В том же «Литераторе» в статье «Трагикомедия экранизации» В. Каверин писал: «Мне больше всех других нравится роман «Перед зеркалом». Отчасти потому, что его, по-моему, экранизировать или инсценировать трудно. По своей сущности он создан для чтения». А дальше следует беспощадный «разгром» спектакля, одновременно с моим поставленного в

Москве. Вениамин Александрович его видел и не принял, о чем писал неоднократно. Под эту «горячую руку» попала и я. Но мне придавало силы, что сценария он не читал и спектакля не видел... Особенно он был возмущен стихами поэта, которого в ту пору, к сожалению, не знал (книг Ю. Левитанского тогда было немного), и сочетание с его прозой неизвестных поэтических текстов распалило до ярости:

– Что, вам Цветаевой мало? Пастернака! Ахматовой!.. Да и всей русской поэзии? Пушкина, наконец!..

Слушать меня по телефону он не стал, но, видимо, был удивлен моим упорством – независимым тоном (терять-то нечего!) и настойчивой просьбой о встрече. Он был интеллигентный человек и на встречу согласился.

Призван на помощь все высшие силы, я, под защитой Лидии Николаевны Тыняновой, жены Вениамина Александровича, переступила порог их дома в Переделкино. Кажется, я рассказала тогда все о себе, всю свою биографию. И горячее всего говорила о цветаевском наследии, о своем отношении к Марине Ивановне и понимании ее личности. О том, как потрясла меня героиня романа «Перед зеркалом», и что спектакль стал для меня необходимой и радостной возможностью говорить посредством ее писем о собственном отношении к миру, искусству, любви, поискам смысла жизни. Долго читала стихи Юрия Левитанского, пытаюсь объяснить, почему именно они нужны в спектакле. Вениамин Александрович смягчился и попросил прислать сценарий. Сценарий был послан, и через некоторое время я получила телеграмму с разрешением играть.

Но все это – длинная предыстория эпизода, который был неожиданным и для меня, и тем более для Юрия Левитанского.

Прошло много времени. Как-то звонит мне Юрий Давидович и, потрясенный, рассказывает, как в писательском Доме творчества в Дубултах к нему вдруг подошел Вениамин Александрович, представился и попросил извинения за то, что однажды несправедливо и резко отозвался о его стихах, которые в то время знал мало и плохо. Но, прочитав потом, убедился, что был не прав. За ту несправедливость ему до сих пор стыдно. Извинившись еще раз, попросил подарить книгу...

До этой встречи Вениамин Александрович и Юрий Давидович не были знакомы друг с другом. И никто, кроме меня, не знал о моем давнем разговоре с В. Кавериним о Ю. Левитанском: никому, тем более поэту, я об этом не рассказывала. Но он не мог жить с сознанием неправоты, допущенной поневоле. Не мог не извиниться за нее. И извинился. Перед кем надо было ему быть справедливым? Прежде всего – перед самим собой. Это ли не «развивающееся внутреннее состояние человека, которое является отражением его внутреннего мира»? И которое В.А. Каверин назвал культурой...

НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ ОТЦА

Вениамин Александрович Каверин был миролюбив. В литературные и литературно-общественные баталии он старался не ввязываться. Он вообще не любил конфликты. Кроме того, от волнения у него усиливалась бессонница, которой он страдал всю жизнь. А не выспавшись – он не мог писать. Между тем, он чувствовал себя счастливым только тогда, когда у него хорошо шла работа. Его жена, Лидия Николаевна Тынянова, тоже не любила, когда он ввязывался в «баталии». Она вообще часто беспокоилась о близких. Если кто-то из нас куда-нибудь уезжал, она обязательно спрашивала, с какого момента «надо начинать беспокоиться», если не будет известий. Она, правда, не отговаривала мужа от того, чтобы за кого-то вступить или выступить против какой-либо несправедливости, но душевного спокойствия ей такие случаи не прибавляли, и Вениамин Александрович это знал. Да и особенной надобности «воевать» у него как будто не было. В. Каверин не был одним из тех писателей, чьи произведения могли в советское время быть напечатаны только за рубежом, или ходили в «самиздате», или одним из тех, кто писал преимущественно «в стол», в надежде на публикацию когда-нибудь в отдаленном будущем. Почти все написанное В. Кавериним было издано при его жизни. Исключение составляет лишь книга воспоминаний «Эпилог», написанная в 70-х годах, но изданная лишь в 1989 году, вскоре после смерти Каверина. Но и ее верстку он успел увидеть, а некоторые главы были напечатаны в журналах при его жизни. В целом, по советским меркам, у него была относительно благополучная литературная судьба, если не считать нескольких кампаний разгромной критики. Но от этого не был гарантирован ни один писатель, хоть сколько-нибудь талантливый и оригинальный.

Итак, благополучная судьба для писателя, не стремившегося непременно угодить власти, и мирный характер. Между тем, при чтении того же «Эпилога» может возникнуть впечатление, что Каверин буквально не вылезал из литературных и иных боев. И, в общем, так оно и было, иногда в большей степени, иногда в меньшей. Вот несколько примеров.

В 1955 году писателям разрешили самим собрать и издать альманах, что было совершенно необычно. Такого не бывало с двадцатых годов. Каверин был необыкновенно воодушевлен новыми возможностями. Он вошел в состав редколлегии альманаха. Альманах «Литературная Москва» был действительно общественный, помещения не было, а весь штат состоял из секретаря редакции Зои Александровны Никитиной. Редакционные дела обсуждались главным образом в Переделкине, на дачах Казакевича, Алигер и Каверина, или при прогулках между этими дачами. Тем не менее, первый сборник был очень быстро составлен и выпущен в январе

1956 года, а в конце того же года вышел второй. Но если первый сборник не только имел успех у читателя, но был также благосклонно принят критикой и «начальством», то второй, напротив, был встречен в штыки и подвергся немилосердному разгрому. Во втором сборнике была напечатана третья часть романа Каверина «Открытая книга», но мишенью разгрома был как раз не роман Каверина, а прежде всего рассказ А. Яшина «Рычаги». В рассказе было описано явление, которое Оруэлл назвал «двоемыслием». Яшин вряд ли читал в то время Оруэлла, хотя отдельные экземпляры книг Оруэлла уже ходили по Москве, еще по-английски, не в самиздатских переводах.

Но Оруэлл был ему и не нужен – «двоемыслие» пропитывало всю советскую жизнь. Оно было описано в «Рычагах» очень ярко, что, естественно, вызвало ярость «начальства». Впрочем, дело было не только в содержании сборника. По сравнению с началом 1956 года, когда вышел первый сборник, общественная атмосфера стала намного более суровой. В венгерском демократическом движении, подавленном советскими танками, видную роль играли писатели («Клуб Петефи»), и после этого либерально настроенная литературная общественность вообще была под подозрением. Альманах «Литературная Москва» был не только разгромлен, но фактически закрыт, хотя некоторое время редколлегию водили за нос обещаниями разрешить издание третьего сборника. На обсуждении альманаха в Союзе писателей редколлегия обязательно должна была «признать свои ошибки». Казакевичу и Алигер, членам партии, пришлось что-то «признать», хотя они сделали это в общей форме и достаточно туманно. Эммануил Генрихович Казакевич говорил Каверину, что у него было большое искушение – запеть, выйдя на трибуну, «Расцветали яблони и груши». Каверин же не был членом партии, и признавать ошибки не желал. Со свойственным ему оптимизмом он считал, что «Литературную Москву» удастся отстоять. На обсуждении он решительно защищал альманах. От волнения у него сорвался голос, и заключавший обсуждение А. Сурков, бывший тогда видным литературным чиновником, сказал (как всегда с оканием): «Видно, не шуточные вопросы мы здесь обсуждаем, если один из основоположников советской литературы так волновался, что даже пустил петуха». Казакевич замечательно живо воспроизводил эту тираду. Мы с сестрой потом долго называли отца «основоположник» и спрашивали его, как же это он сумел положить основу такому странно-му и необычному явлению, как советская литература.

Оптимизм не изменил Каверину и в ноябре 1966 года, когда в Союзе писателей шло обсуждение «Ракового корпуса» Александра Солженицына. Считалось, что в зависимости от результатов обсуждения будет решен вопрос о возможности публикации. Времена были уже «брежневские», общественная и политическая атмосфера никак не способствовала публикации «Ракового корпуса». Скорее всего обсуждение устроили для того, чтобы создать видимость «учета общественного мнения», а не с тем, чтобы всерьез рассмотреть возможность издания книги. Но Каве-

рин так не думал. Он отнесся к обсуждению совершенно серьезно, решительно отстаивал в своем выступлении необходимость публикации. После обсуждения Солженицын прислал Каверину письмо с благодарностью, затем они познакомились лично. Каверин вообще очень высоко оценивал литературный талант Солженицына, хотя и находил чисто литературные недостатки в его произведениях и даже пытался давать советы. Александр Исавич за советы благодарил, но, по-моему, никогда ими не пользовался.

«Раковый корпус», естественно, опубликован не был, знакомство же поддерживалось и в последующие годы. Солженицын стремительно превращался из советского писателя, чье произведение выдвигалось на ленинскую премию, в грозного диссидента, которым занимался целый отдел пятого главного управления КГБ. Уже в начале 70-х Каверин не рискнул (во избежание «всевидящего ока») послать ему письмо по почте. Я отнес письмо темным зимним вечером на дачу Корнея Чуковского в Переделкине, где Солженицын тогда жил в полном одиночестве, но под наблюдением того же «ока» (вокруг дачи болталось по пустым переделкинским улицам несколько «Волг»). К этому времени о публикации произведений Солженицына в Советском Союзе нечего было и думать. Каверин, однако, сохранял оптимизм. Он продолжал надеяться, что времена изменятся, и он еще увидит книги Солженицына, вышедшие не «там», а здесь. И увидел!

Наверно, именно природный оптимистический характер был одной из причин, по которым Каверин, при своем миролюбии и нелюбви к конфликтам, то и дело оказывался в гуще литературно-общественных боев. Он искренне считал, что смелое слово, сказанное в подходящий момент, может решить судьбу литературного произведения или судьбу писателя, а, стало быть, принести пользу русской литературе, рыцарем которой он был всю жизнь. Но дело, конечно, не только в оптимизме. Жизнь почему-то все время складывалась так, что остаться в стороне – не получалось. Отчасти это, наверно, можно объяснить специфическим отношением советской власти к литературе. Власть хотела невозможного: перед литературой ставилась цель воспитания строителя коммунизма, да еще и предписывался ограниченный набор средств – «социалистический реализм». Каверин неоднократно говорил, в том числе и публично, что он не понимает, что такое «социалистический реализм». Но власть, видимо, понимала или думала что понимает. Явный выход за пределы соцреализма грозил судом и высылкой даже при Хрущеве, а при Сталине – лагерным сроком. Бродскому и Заболоцкому инкриминировалась, по сути дела, скорее форма, чем содержание стихов. Предписанная цель и ограниченные средства могли породить только очень слабую литературу, но это тоже не устраивало власть. Эта несовместимость характера власти и природы творчества создавала то особое поле высокого напряжения, в котором жили писатели и которое постоянно ставило их перед выбором – угодить власти и потерять уважение к себе (а с ним и творческий потенциал) или,

наоборот, рискнуть, но сохраниться как человек и писатель. Каверин стремился всегда сделать второй выбор, причем стремился, я думаю, сознательно. Вообще эту несовместимость идеологизированной власти с творчеством он подметил очень рано. Именно она составляет главный мотив романа «Художник неизвестен», написанного и изданного еще в 1931 году. Каверина клеймили за этот роман как классового врага, несколько лет не печатали. Между тем власть в романе представлена вполне симпатичным персонажем, Шпекторовым. Она, власть, пожалуй, даже и права, в чисто социальном аспекте. Но с творчеством – несовместима.

В последующие годы Каверин не раз имел возможность убедиться, что представители власти не всегда такие уж симпатичные парни, а сама она не столь уж права. Несовместимой же она оказывалась вовсе не только с литературой и искусством, а просто с обычной порядочностью, и вот здесь-то и возникали самые опасные ситуации.

В начале 1953 года Каверину предложили поставить подпись под письмом группы видных деятелей культуры, науки, армии и флота. Деятели все были евреи, а в письме содержалось требование предать смертной казни врачей-убийц. Каверин отказался, да еще и сказал, что отказывается «по многим причинам». Это был, возможно, самый рискованный поступок в его жизни. Если бы Сталин прожил подольше, биография «одного из основоположников советской литературы» могла бы получить совсем другой оборот и даже оказаться намного короче.

В не столь грозные, хотя тоже довольно суровые времена, в 1970 году, Каверин был вызван на заседание секретариата Союза писателей. Незадолго до этого в Обнинске, в Калужской области, был помещен в психиатрическую больницу Жорес Александрович Медведев, известный ученый-генетик. Каверин хорошо его знал. Жорес Медведев даже был, в известной мере, прототипом одного из персонажей романа Каверина «Двойной портрет», Лепесткова. В отличие от Лепесткова, Жорес Медведев занимался не только наукой. Он написал несколько книг, и они были изданы на Западе. В одной из его книг был впервые подробно описан разгром биологии лысенковцами, а в другой разоблачена техника перлюстрации частной переписки, применяемая КГБ. Психиатрический террор в отношении диссидентов в 1970 году еще не был нормой, а Жорес был видным ученым. За него вступились академики и писатели. Каверин не только подписал письмо в его защиту, а даже поехал вместе с женой, Лидией Николаевной Тыняновой, навестить Жореса в больнице, причем это удалось, потому что Жореса держали не в спецпсихобольнице, как это практиковалось в отношении диссидентов в последующие годы, а в обычном психиатрическом лечебном учреждении. Помню, что эта внезапная поездка в Калужскую область очень меня удивила. Одно дело подписать письмо, а другое ехать Бог знает куда. Мои родители были в житейском плане люди несколько инертные, внезапно сорваться с места – это было не в их стиле. Видимо, секретариат Союза писателей тоже был удивлен, к тому

же они получили письмо из Калужского обкома. Заседание секретариата, на которое вызвали Каверина, состоялось в тот день, когда Жореса выпустили из больницы, причём Каверин знал об этом, а секретариат – не знал, и Каверин сообщил им эту новость. Они несколько смутились, но мероприятие не отменили. Один из них, бывший генерал КГБ Ильин, сказал, что заступаясь за арестованных преступников (он имел в виду А. Синявского и Ю. Даниэля, письмо в защиту которых Каверин подписал раньше), Каверин солидаризируется с их антисоветскими взглядами. Каверин на это возразил, что когда он в 1937 году заступался за арестованного брата, знаменитого вирусолога Льва Александровича Зильбера, то Берия прочел письмо Каверина, и брата освободили, и никто Каверина ни в чем не обвинял. Наверно, ни до, ни после этого никто не ставил в пример секретариату Союза писателей палача, убийцу и насильника Берия в качестве образца умеренности и благожелательной внимательности к людям, и на этом мероприятие по воспитанию Каверина закончилось. Вообще-то Каверин немного, как теперь говорят, «лукавил». Он не сказал, что брата, которого обвиняли в намерении заразить членов политбюро вирусом японского энцефалита, вскоре опять арестовали. Кроме того, он хорошо понимал, что защита Жореса Медведева или обращение с требованием оправдать Синявского и Даниэля – это совсем не то же самое, что письмо к Берии с просьбой о пересмотре дела Зильбера. Разница примерно такая же, как между декларацией протеста и челобитной. Но, по сути, Каверин был прав. В 1937 году скромная просьба о пересмотре дела была, пожалуй, не меньшим «грехом» перед властью, чем смелое выступление в защиту диссидента в 1970-м.

Эти эпизоды, как и многое другое, описаны Кавериним в «Эпilogue». История этой книги сама по себе не лишена интереса. Работа над ней была окончательно завершена Кавериним в 1979 году. О публикации книги нечего было и думать. Ее даже читать было страшно, книга воспринималась как явное покушение на советскую власть. Публиковать книгу за рубежом Каверин не хотел. Он хотел и дальше писать и печататься, и не стремился ни в ссылку, ни в эмиграцию. Было решено отложить рукопись до лучших времен (оптимизм подсказывал, что они обязательно наступят), а для безопасности – переправить один экземпляр за границу. В это время власти собирались изгнать за границу Владимира Войновича, и Каверин с ним договорился, что если Войнович уедет, то рукопись «Эпilogue» ему переправят. Отдать рукопись Войновичу, чтобы он взял ее с собой, представлялось слишком рискованным. Да и книга была еще не совсем завершена. Потом, когда Войнович уехал, я попросил Люшу (Елену Цезаревну Чуковскую) помочь с пересылкой рукописи. Она, в свою очередь, обратилась к Борису Биргеру, художнику, известному во всем мире, но не признанному в СССР. Он имел опыт в пересылке своих произведений на Запад. И вот тут дело едва не сорвалось. Биргер и австрийский дипломат, которого он попросил отвезти рукопись, явились на дачу к Ка-

верину, чтобы удостовериться, действительно ли автор желает отправить рукопись за границу. Каверин, между тем, не был посвящен в детали предприятя. С Биргером он был хорошо знаком, но о том, что Биргер принимает участие в пересылке рукописи, он не знал. Меня в это время на даче не было, и никто не мог объяснить Каверину, какое отношение к «Эпилогу» имеет Биргер, а тем более – австрийский дипломат. Но Каверин мгновенно все понял! Он выразил одобрение, и «Эпилог» уехал на Запад, где и пролежал «до лучших времен».

Во время войны Каверин был специальным корреспондентом «Известий» на Северном флоте. Многое из того, что он там видел, отражено в его рассказах военного времени, а также в повестях и романах, написанных в последующие годы. Но многое и не отражено. Я помню его рассказ о том, как в Полярном, в клубе или красном уголке, кого-то из летчиков, игравших там в шахматы, вызвали, он доиграл партию и ушел, сказав, что его вызывают, чтобы лететь в «Буль-буль». Когда он ушел, Каверин спросил, что это такое – «Буль-буль». Ему объяснили, что летчики так называют одно место на побережье, где у немцев очень мощная противовоздушная оборона, и наши самолеты там постоянно сбивают. И они «буль-буль». В поведении и тоне летчика, который доиграл партию и ушел, не было заметно ни малейшего волнения, беспокойства или бравады. В том, как Каверин рассказывал об этом случае, чувствовалось его искреннее восхищение этим человеком. Ему, по-моему, не приходило в голову, что в той стране, где он жил, самые, казалось бы, естественные поступки (что может быть естественнее, чем отказать в требовании казни людей, которых считаешь невинными, или просить пересмотреть дело брата, которому предъявлены дурацкие обвинения, или написать книгу воспоминаний), требовали мужества, сравнимого с мужеством летчика, который летел в «Буль-буль», и, чтобы точно сбросить торпеду, вел самолет прямо на огонь немецких зенитных пулеметов...

Ли́за НОВИКОВА

СТОЛЕТ КАПИТАНСТВА

К своему вековому юбилею автор восьмитомного собрания сочинений писателя Вениамин Каверин оказался в ранге «третьего капитана». И в отставку его все никак не отпускают. Роман о Сане Григорьеве и капитане Татаринове пока остается самым читаемым и знаменитым. Приключенческая добротность, сказочная ладность сюжета, психологизм в лучших классических традициях, скромная любовная линия, подходящая детям

до 16 лет, – все это сделало «Двух капитанов» долгоиграющим хитом. Принципиальнейший Саня Григорьев остается одним из немногих идеальных образов в литературной компании «лишних» и «бедных» людей. Таких персонажей сейчас уже не делают. И в этом Каверин оказался сегодня в выгодной позиции автора-оригинала.

Благодаря авиационно-флотскому уклону романа писатель навечно заручился поддержкой служащих читателей. На посвященном его 100-летию вечере в Центральном Доме литераторов было зачитано приветствие адмирала Куроедова: моряки Каверина уважают. Выступили и ученые, которых писатель подкупил «Открытой книгой». Жаль, что для объективности автора повести «Конец хазы» не поприветствовали труженики отмычки. И дети. Если каверинские сказки до сих пор не побили по популярности вторичного «Гарри Поттера», то в этом виноваты только взрослые, упорно не переиздающие «Песочные часы», «Аптеку “Голубые шары”» и «Сына стекольщика».

Сам Каверин в какой-то степени оказался в положении сказочного «сына стекольщика». (Отец его, Александр Зильбер, был капельмейстером, что звучит тоже вполне сказочно). Героя сказки, человека-невидимку, увидеть можно было только по дождливым дням. Такая же «проявка» требуется и Вениамину Каверину. Станет явным то, что для знающих не составляет секрета уже многие десятилетия. Ведь помимо «Двух капитанов» у писателя есть и экспериментальный филологический роман «Скандалист», и эпистолярно-любовный шедевр «Перед зеркалом», и с философским спокойствием подведенный «Эпилог», и еще много других не всегда «открытых книг».

Только недочитавшие Каверина могут отделяться от него ярлыком «советский». На самом деле у писателя просто не было времени быть «советским». «Ни дня без строчки» было его железным правилом. Например, к своим ранним произведениям он возвращался с редакторской правкой в самые последние годы жизни, и у «Открытой книги» (1946-1954) была окончательная редакция 1980 года. Так и видишь, как он сидит за столом на даче в Переделкине и пишет: «В. Каверин, В. Каверин...» – как когда-то трактовала работу отца его маленькая дочь.

Каверина, с его образцовым стартом (участие в литературной группе «Серапионовы братья», Осип Мандельштам и Юрий Тынянов в качестве напутствующих старших друзей), стремительной эволюцией (к 28 годам – собрание сочинений) и не зависящими от конъюнктуры вкусами («из русских писателей больше всего ценю Гофмана и Стивенсона»), можно смело записывать в ряды русских классиков. Конечно, ему повезло: в молодости поддержал Максим Горький, «Двух капитанов» не репрессировали и даже дважды экранизировали. Но все-таки без цензуры не обошлось. Например, в «Открытой книге» сцену гимназической дуэли запретили: героиню вместо случайной пули пришлось сбивать са-нями.

Да и любое везение относительно. В одной из каверинских сказок героиня, обожавшая самолюбование, может спасти заколдованного героя, только если не будет смотреть на свое отражение: выступая среди зеркал, она танцует с закрытыми глазами. Таким же танцем было и творчество для самого Каверина. Он старался не обращать внимания на «критику сверху», но и не бежал от официальных признаний: госпремия ему была «кстати». Отсюда и вечная, если приглядеться, грусть каверинских произведений. Любовь не встретившихся персонажей «Перед зеркалом» остается виртуальной, в «Скандалисте» герой так и не справляется с давлением времени. Интересно, как бы он воспринял себя в роли либреттиста для нового мюзикла.

МОСКВА. СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ.
УЧАСТНИКАМ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. КАВЕРИНА.

Дорогие друзья! Творческая группа мюзикла «Норд-Ост», созданного по мотивам знаменитого романа Вениамина Каверина «Два капитана», приветствует вас в этот вечер. Нет сомнений, что успех первому российскому мюзиклу ежедневного показа, которым стал «Норд-Ост», во многом обеспечил именно сюжет, горячо любимый несколькими поколениями наших соотечественников. Премьера «Норд-Оста» состоялась в первый год нового тысячелетия – ровно полгода назад. Наш спектакль уже успело посмотреть почти 200 тысяч зрителей. Нам отрадно каждый вечер видеть в зале множество детей и подростков вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками. Это значит, что ценности, утверждаемые в «Двух капитанах» – любовь, верность, дружба, патриотизм, мужество, поиск истины, – по-прежнему способны объединить граждан нашей страны.

Творческая группа мюзикла «Норд-Ост»

ВЕНИАМИН КАВЕРИН УСТАНОВИЛ РЕКОРД ГОДА

Юбилей Вениамина Каверина команда мюзикла «Норд-Ост» (в основу которого лег сюжет романа «Два капитана») отпраздновала на Северном полюсе. В духе популярных когда-то экскурсий по литературным местам театральные капитаны отправились по следам каверинских героев, полярных летчиков и исследователей. В точке пересечения всех меридианов на дрейфующей льдине при 40-градусном морозе был исполнен фрагмент мюзикла, что зафиксировано как официальный рекорд представителем Книги рекордов России. Кроме того, новоявленные полярники установили флаг «Норд-Оста» со словами «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Впервые эта надпись была высечена на могильном кресте полярного исследователя Роберта Скотта, чья экспедиция погибла в Антарктике ровно 90 лет назад. Вениамин Каверин перенес эти слова, ставшие лозунгом «Двух капитанов» и жизненным девизом для целого поколения читателей, на белый камень, стоящий на месте гибели капитана Татаринова. В будущем команда «Норд-Оста» планирует совершить экспедицию к этому месту в устье Енисея и установить там памятник покорителям Русского Севера.

«Коммерсантъ», №70, 20 апреля 2002

Дарья МОРГУНОВА

МЮЗИКЛ «НОРД-ОСТ» – НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ РОМАНА «ДВА КАПИТАНА»

19 апреля 2002 года, когда со дня рождения В. Каверина исполнилось 100 лет, у мюзикла «Норд-Ост», поставленному по самому известному произведению этого автора – роману «Два капитана», был двойной праздник. В тот же день спектакль отмечал полгода со дня премьеры. За этот небольшой срок мюзикл был показан 172 раза, его увидело 200 тысяч зрителей.

Эпиграфом для памятного альбома мюзикла «Норд-Ост» была выбрана фраза из романа: «Мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой». В первую очередь, эти слова – своеобразная квинтэссенция содержания книги

и спектакля. Но одновременно их можно отнести к самоощущению создателей мюзикла: они тоже поставили себе крайне сложную задачу, в реализацию которой никто не верил, и смогли добиться осуществления заветной мечты.

«Норд-Ост» – спектакль, который воплощает абсолютно новый подход к театральному делу в России. Он демонстрируется каждый день, и соответственно, чтобы собирать залы ежевечерне, должен быть очень интересен аудитории.

С самого начала авторы музыки, либретто и постановки Алексей Иващенко и Георгий Васильев считали роман «Два капитана» идеальной литературной основой для жанра эпического мюзикла, так как в его структуре присутствовали все необходимые для такого спектакля составляющие: напряженный приключенческий сюжет; роковые тайны; любовь, пронесенная сквозь годы; герои-правдолюбцы и герои-подлецы. Останавливало только то, что книга казалась неотъемлемой приметой советского прошлого.

Определиться помог случай: один из будущих авторов на отдыхе читал роман собственным детям, и увидел, что все они вне зависимости от возраста с неподдельным вниманием следят за судьбами героев и развитием сюжета. Этот невольный эксперимент продемонстрировал, что юное поколение по-прежнему воспринимает книгу как «живое» художественное произведение, несмотря на смену общественных ориентиров за последние полтора десятилетия.

Впрочем, до премьеры «Норд-Оста» было трудно встретить человека, который бы не выражал сомнений по поводу совместимости выбранного сюжета и жанра мюзикла. Однако позже в прессе неоднократно подчеркивалась удивительная «тождественность» книги и новой сценической версии. В одной из первых рецензий критик Валерий Кичин («Известия», 18 октября 2002 г.) писал: «Роман Каверина «Два капитана» чудом уложился в конгениальное ему музыкальное зрелище, не потеряв в серьезности, но приобретя в энергетике. Проза чудом перешла в стихи, умные и остроумные, стихи чудом легли на музыку, которую хочется слушать снова».

Все, кто сталкивался с проблемой художественной интерпретации, знают, как непросто добиться идентичности двух произведений в восприятии аудитории.

Мюзикл «Норд-Ост» идет три часа, и сценическая версия подразумевала значительные сокращения 600-страничного романа. Кроме того, литературное произведение пережило тройное превращение: из эпоса оно преобразовано в драму; прозаический текст переписан стихами; повествование, которое в оригинале ведется от первого лица (эффект «лирического героя»), в спектакле обретает множественность точек зрения. Каким же образом столь значительные изменения в итоге не повлияли на зрительское впечатление?

Во-первых, авторы «Норд-Оста» старались «спрямить» сюжет, не столько отказываясь от «лишних» героев и сюжетных ходов, сколько совмещая сходные эпизоды или ролевые функции двух персонажей (Таблица 1). Таким образом, зритель, у которого в памяти осталась сюжетная канва романа, подчас не замечает подмены.

Таблица 1

	В романе «Два капитана»:	В мюзикле «Норд-Ост»:
2 смерти -> 1 смерть	Труп почтальона выносит река. Маленький Саня становится свидетелем убийства сторожа на понтонном мосту.	Жертвой преступника, которого Саня встречает на берегу во время рыбалки, становится почтальон, в чей сумке находится злополучное письмо.
2 героя-наставника -> 1 герой-наставник	Саню учит разговаривать доктор Иван Иванович, который становится его другом на всю жизнь. В Москве Саня знакомится со школьным учителем Иваном Павловичем Кораблевым, скоторым его свяжет долгая дружба.	Саню учит разговаривать Иван Павлович Кораблев, скоторым мальчик позднее случайно встречается в Москве. Саня и Кораблев остаются друзьями на всю жизнь.
2 исчезновения -> 1 исчезновение	Ромашов по-шпионски роется в вещах Сани. Страница из письма капитана Татаринова без чьего-либо злого умысла теряется в Энске.	Ромашов крадет письмо из Саниной заветной сумки.
2 финала -> 1 финал	Саня Григорьев читает дневники штурмана Климова и находит багор со шкуны «Святая Мария» (первый том, публикация 1938 г.) Саня Григорьев во время войны обнаруживает последнюю стоянку экспедиции и прощальные письма капитана (второй том, публикация 1944 г.)	В 1943 году Саня Григорьев впервые пролетает по маршруту экспедиции и во время аварийной посадки своего самолета в ненецком становище обнаруживает корабельный багор и судовой журнал «Св. Мария».

Во-вторых, сам текст романа «узнаваем» в мюзикле, он постоянно «просвечивает» в тексте либретто, несмотря на то, что прямо цитируются в спектакле всего лишь 2-3 фрагмента (письмо капитана Татарина, финальная встреча Кати и Сани). Можно сказать, что чаще всего эффект «узнаваемости» достигается особым способом цитирования, который мы назовем «мозаичным». Один из наиболее ярких фрагментов для анализа такого цитирования представляет сцена с лактометром (Таблица 2).

Таблица 2

В романе «Два капитана»:	В мюзикле «Норд-Ост»:
<p>– Беги, взорвешься! – закричали в сарае (...)</p> <p>– Лактометр! – заорал я и со всех ног побежал к помойке. – Где он?</p> <p>На том месте, где торчал мой лактометр, была глубокая яма.</p> <p>– Взорвался!</p> <p>Катка еще сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели.</p> <p>– Балда, это гремучий газ взорвался, – сказала она с презрением. – А теперь лучше уходи, потому что сейчас придет милиционер – один раз уже приходил – и тебя цапает, а я все равно удеру.</p> <p>– Лактометр! – повторил я с отчаянием, (...) – Где он?</p>	<p>Катя: Беги!!! Взорвешься!!! (<i>взрыв</i>)</p> <p>Катя: Куда ты лезешь, ненормальный, Здесь идёт эксперимент с гремучим газом.</p> <p>Саня: Где мой лактометр?</p> <p>Катя: Ты что! Да у тебя, наверно, ум зашёл за разум! Ну, а теперь скорей – атас, Не то сейчас, как в прошлый раз, Примчится дворник и устроит скандал!</p> <p>Саня: Где мой лактометр?</p> <p>Катя: Балда, скажи спасибо, что ты сам не пострадал!</p>

Как мы видим, текст либретто воспроизводит:

- ключевые слова эпизода (*лактометр, гремучий газ*), которые стали знаковыми для читателей романа;
- слова и выражения, характерные для речи персонажа («*Балда!*»);
- опорные, эмоционально окрашенные формулировки («*Беги! Взорвешься!*»);
- ритмические повторы прозаического текста («*Где мой лактометр?*»), которые уже в оригинале несут «музыкальную» функцию.

С помощью аналогичных творческих приемов, ювелирной работы буквально с *каждым* словом, преобразован весь текст книги; либретто не-

зримыми лучами проекций связано с оригиналом. Даже в случае кардинальных изменений в некоторых сценах эта связь ощутима. Например, в романе Саня Григорьев после трудного боя должен посадить свой самолет, и читатель узнает о происходящем через внутренний монолог героя: «...Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбросить пулеметные диски. Еще десять минут – и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в море.

– Держимся, Саня?

Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко, минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня, – до берега было не меньше чем тридцать.

– Дотянем, Саня?

– Конечно, дотянем!

И мы дотянули».

В спектакле свидетелями воздушного боя становятся ненцы на берегу, и именно они «транслируют» зрителю то внутреннее противоборство между сомнением и надеждой, между отчаянием и жадной жизнью, которое переживает экипаж самолета:

Хор ненцев:

Тонет, смотрите, тонет!

Он посередке переломился.

Ненки:

Гляньте! А самолётик!

Он на излёте, он задымился.

Ненцы:

Он до земли-то и не дотянет!

Ненки:

Авось дотянет!

Ненцы:

Да он подбитый!

Ненки:

Небось дотянет!

Ненцы:

Да не дотянет!

Ненки:

Поди, дотянет!

Все эти изменения, которые можно аналитически разложить на отдельные приемы, в тексте либретто представляют не сумму, не набор методов, а произведение, синтез подходов. В *Таблице 3* наглядно видно, как взаимодействуют в мюзикле изменения конструктивных элементов сюжета («спрямление») с «мозаичным» цитированием.

В романе «Два капитана»:	В мюзикле «Норд-Ост»:
<p>– Там кончалось: «Привет от твоего...» Врсно? Марья Васильевна кивнула. – А дальше было так: «...от твоего Монготимо Ястребиный Коготь...» – Монготимо? – с изумлением переспросил Кораблев. – Да, Монготимо, – повторил я твердо. – «Монтигомо Ястребиный Коготь», – сказала Марья Васильевна, и в первый раз голос у нее немного дрогнул. – Я его когда-то так называла. <i>(«протокольное» воспроизведение героем события по памяти)</i></p> <p>2 эпизода -></p> <p>1 эпизод</p> <p>«Монтигомо Ястребиный Коготь, я его когда-то так называла». У нее задрожал голос, потому что никто не знал, что она его так называла, и это было неопровержимым доказательством того, что я верно вспомнил эти слова. <i>(герой, рефлексируя, догадывается о значении «подписи»: для Марии Васильевны именно она стала свидетельством подлинности письма.)</i></p>	<p>Кораблёв: Нет, это невообразимо! Ты что-то путаешь.</p> <p>Саня: Да, нет! ... И подпись вроде псевдонима... Сейчас я вспомню... «Монготимо!»</p> <p>Кораблёв: Как? Монготимо? Что за бред!</p> <p>Марья Васильевна: Нет, это имя мне знакомо. Лишь буквы путаете вы. Его звала я Монтигомо, И это знали лишь вдвоем мы. Тебе я верю, да... Увы...</p> <p><i>(Мария Васильевна сама подтверждает, что именно «подпись» является для нее основным доказательством подлинности Саниного воспоминания. Либретто воспроизводит «знаковую» путаницу в словах «Монготимо» – «Монтигомо».)</i></p>

Третье, и, быть может, самое важное состоит в том, что мюзикл обнажает, выявляет и дополнительно подчеркивает строгую архитектуру оригинального сюжета. В романе лишь однажды формулируется параллелизм сюжетных коллизий, в центре которых оказываются старший и младший капитаны: «И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь». В мюзикле эта

симметрия в расстановке персонажей представлена более нарочито: первое действие концентрируется на любовном треугольнике Пропавший Капитан/Кораблев – Марья Васильевна – Николай Антонович, второе – на взаимоотношениях Саня – Катя – Ромашов. В первом и во втором действии присутствуют сцены сватовства: их сходство подчеркнуто одним местом действия (квартира Татариновых), участниками (Марья Васильевна/Катя – Кораблев/Ромашов – Нина Капитоновна), исходом («ответ с отказом»). И Марья Васильевна, и Катя ждут своих любимых девять лет. Центральные арии героинь объединены друг с другом рефреном «Пока моя любовь жива...», костюмы Марии Васильевны и Кати в этих сценах имеют явное сходство.

Более того, в романе детская немота героя, перенесенная в художественный текст из документальных воспоминаний прототипа Сани Григорьева, является лишь колоритной подробностью, которая практически не влияет на развитие сюжета (недаром в первой экранизации от этого фрагмента просто отказались). Авторы мюзикла не только сохранили этот факт, но и превратили тему немоты в одну из центральных этических проблем спектакля. Физическая немота становится здесь одним из обликлов неправды, неузнанной истины; произнесенное слово в этом контексте обретает значимость поступка, действия. В выборе между молчанием и словом – один из основных драматических конфликтов спектакля.

Наиболее контрастно это воплощено в арии Сани, которая звучит после самоубийства Марии Васильевны в конце первого действия:

*Жизнь отца не сумел я спасти,
Потому что нем был, как рыба.
А теперь сказал все, что знал,
Но уж лучше был бы, как прежде, нем.*

Карой для Николая Антоновича в финале мюзикла становится не публичное обвинение в гибели брата, а немота, которая настигает его из-за болезни. (Напомним, что аналогичный сюжетный поворот присутствует в одном из первых фантастических рассказов В. Каверина «Хроника города Лейпцига за 18... год»: там герои-антагонисты обмениваются конвертом с запечатанным молчанием; его вскрытие приводит к обмену немотой между героями).

Даже море, которое присутствует в словесных декорациях мюзикла «Норд-Ост», своевольно выбирает именно между молчанием и шумом: «Море молчит, как рыба, но ветер дунет – и все изменится».

Однако молчание является также одним из основных препятствий и в личных отношениях героев. Кораблев так и не отваживается на признание в любви Марии Васильевне, остановленный ею на полпути:

*Мой верный друг, не нужно слов,
Они лишь сердце зря тревожат.
Мы не опишем наших чувств,
Передоверив их словам.*

Катя и Саня тоже долго не решаются воплотить в слова свои чувства:

*Ах, как же нелегко вблизи наедине
Услышать друг друга.
И выпустить на волю из горсти
Слова, что столько лет таились,
Слова, что к облакам способны вознести...
Их нужно только вслух произнести.*

И лишь признавшись друг другу в любви, герои обретают новые силы для жизненных испытаний. Слово-действие становится для них значимой жизненной вехой.

В. Каверин называл «Двух капитанов» романом о правде. Мюзикл «Норд-Ост» стал произведением о поисках правды и взаимопонимания, о поисках прямых путей друг к другу.

Основа декораций спектакля – пять подвижных лучей-дорог. Кроме многочисленных функциональных значений (коридоры, мостки, взлетные полосы и т.д.) они обладают еще и глубоким символическим смыслом. Вопреки расхожей сентенции о дураках и дорогах как двух основных проблемах России мир «Норд-Оста» держится на других двух ценностях, которые соединяют в одно целое пространство огромной страны, – дорогах и любви.

Александр ЛОБАЧЕВ, доктор исторических наук, профессор-политолог, главный редактор «Псковской энциклопедии»

«ДВА КАПИТАНА» В ДУХОВНОЙ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Верно говорят: пути Господни неисповедимы... Если б мне в 1966 году сказали, что 35 лет спустя я буду выступать на «Каверинских чтениях» в Пскове, участие в которых примут дети и внуки известного писателя, я не поверил бы. Но рад, что это случилось...

В тот год я был пионервожатым в далеком Казахстане, в Джамбульской области, в Макбальском ущелье. Мой отряд имел девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Под таким девизом мы жили, играли, покоряли горные вершины, делили заботы и радости пионерского лета.

Прошло много времени. Перечитывая, как и сейчас, роман «Два капитана», невольно задаешь себе вопрос: почему он по-прежнему читается с неослабевающим интересом, чем притягивает? Только ли романтикой, напряженным, динамичным развитием сюжета, где и поиск пропавшей арктической экспедиции Татаринова, и долгая, упорная борьба за правду и справедливость? Пребывая ныне в солидном возрасте, имея за плечами немалый жизненный опыт, многое пережив, находишь ответ на вопросы. Конечно же, не только этим продолжает волновать знаменитый роман В. Каверина, хотя и романтика, и сюжет, как и в далекие юные годы, побуждают острее переживать драматические события, о которых повествует писатель, радоваться и печалиться за его героев – Саню Григорьева, и Петьку Сковородникова, Кораблева и Татаринова, Катю и доктора Ивана Ивановича.

Главное, чем неослабно притягивает роман «Два капитана», – естественная суть истинно человеческой жизни. Жизнь по правде и справедливости, во имя Родины. Задумываясь над этим, вспоминаешь эпоху, в которую жил и о которой писал В. Каверин. И тем более поражаешься гражданской смелости романиста, его писательскому мужеству.

Известно, что человек зависит от обстоятельств, которые его окружают, но которые он не всегда может изменить. Одни приспособляются к ним, подличают, приносят горе близким и всем людям вокруг. Другие живут не просто по природным, естественным, но и высшим нравственным законам человеческого бытия. Это хорошо прослеживается на примере героев «Двух капитанов», и с этой точки зрения позиция писателя весьма притягательна.

Когда печатался роман, В. Каверину было 36-42 года. То было время довоенных массовых репрессий, потом войны. Но писатель не заигрывал с суровой действительностью, с ее ведущей и направляющей силой – коммунистической партией, советским государством, властью, которая осуществляла террор против собственных граждан. В отличие от других собратьев по перу, он не льстил власти, не прославлял строительство социализма под ее мудрым руководством и даже, не заботясь о том, чтобы стать благополучным писателем, делающим карьеру, не употреблял слова «Советский Союз» – такого понятия вы не найдете в тексте романа. Об условиях жизни, в каких трудятся, какие переживают его герои, В. Каверин повествует простым, ясным языком, показывает их такими, какими они были реально в пору революции, разрухи, голода, восстановления хозяйства, оказания интернациональной помощи Испании, улучшения быта, возможностей учиться, Отечественной войны, ленинградской блокады, боев на Севере.

Обращает на себя внимание то, что условия жизни героев романа, те политические процессы, которые протекали в обществе – а они были далеко не легкими, даже опасными для людей: ведь послали же Саню Григорьева не в боевую, а в сельскохозяйственную авиацию – обозначены в

романе штрихами. Писатель мог обойтись и без них, мог, как это делали многие, пойти на патетические реверансы социализму, небывалому героизму советских людей сначала в строительстве, а потом и защите социалистического общества. Но нет этого в романе. Очевидно, что для В. Каверина так называемый социалистический реализм, который насаждался в литературе и искусстве и почитался как главное мерило, эталон творческих достижений, таковым не был, он его попросту не принимал. Это как раз и сделало роман «Два капитана» достоверным, точным и человечным. Потому он и не забывается, потому и не ушел вместе с тем советским, социалистическим периодом российской истории, который ныне остался в прошлом.

В «Двух капитанах» – в этом тоже творческая и гражданская смелость писателя – нет и прославления идеологии, господствовавшей в то время, когда жили и действовали герои романа, – идеологии коммунистической партии. Но они исповедуют идеологию нравственную, которая вполне естественна для нормальных, порядочных людей и покоится на любви к Родине, служении ей, заботе о приращении ее могущества, величия и славы.

Нашим современным политикам было бы полезно читать и перечитывать этот роман В. Каверина, потому что он дает хорошие нравственные уроки справедливости, совести, истинной любви к Отечеству и его гражданам. Ведь заповедь «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» не самоцель положительных героев, привлекательных и обаятельных. Бороться и искать – ради Отечества, для блага его и людей. Найти и не сдаваться – опять же во имя людей, правды и Родины. Служение Родине – вот чему была отдана, посвящена жизнь двух капитанов и других героев романа и что сохраняет свое актуальное значение и в наших нынешних политических условиях.

Псков

Геннадий РУДЕНКО, капитан 1 ранга

«ДВА КАПИТАНА» В МОЕЙ ЖИЗНИ

Хочу рассказать о том, какую роль в моей жизни сыграл роман В. Каверина «Два капитана».

Мое детство прошло на Дону, в 60 километрах выше станицы Вешенская. В 1942 году здесь проходила линия фронта. Немцы дошли до правого, возвышенного берега Дона и остановились. Наши стояли на левом, низменном берегу. Так продолжалось с июня 1942 до января 1943 года. В январе 1943 года наши войска перешли в наступление и с немалыми

потерями выбили немцев, укрепившихся на правом, высоком берегу. А в апреле широко разлившийся Дон, доходивший почти до порога нашего дома на улице Набережная, начал постепенно спадать, и чего только не выносила вода к нам на берег. Тут были винтовочные и автоматные патроны, предметы армейского обихода, обмундирования. Все это пополняло коллекцию наших мальчишеских находок.

Как раз в эти дни мать, школьная учительница, принесла мне, первокласснику, книгу, на обложке которой было написано: «Два капитана». Первые же строки заворожили меня. Еще бы: «Двор стоял у самой реки, и по веснам, когда спадала поляя вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег и самого почтальона...». Дальше – больше: главы «Север», «Бороться и искать», «Найти и не сдаваться». А Север уже в ту пору был моей мечтой. В Полярном служил на подводной лодке мой дядя, и я мечтал тоже стать моряком. Прочитанная книга укрепила меня в этом желании.

Однажды, когда я учился уже в старших классах, дядя приехал к нам погостить. Я упросил его взять меня с собой, чтобы, наконец, самому увидеть, что такое Север. Окончив там десятый класс, я без колебаний уехал в Ленинград, поступил в Высшее военно-морское училище, а при распределении нашего выпуска попросил направить меня на Север. Пять лет служил в Полярном, потом во многих других губах, которые позднее были названы именами героев-подводников: Гаджиево, Видяево... Роман «Два капитана» все эти годы был со мной неотлучно. Ведь, как известно, писатель, завершал его в годы войны в Полярном. Таким образом, я, как и полярный летчик Саня Григорьев, осуществил свою детскую и юношескую мечту – стал моряком-североморцем.

Обо всем этом я рассказал в 1997 году в письме В. Каверину, которое послал к его 85-летию. Мне просто хотелось, не ожидая ответа, довести до сведения писателя, как благотворно повлияла его книга на мою судьбу. Однако вскоре я получил от него из Переделкино хорошее, теплое письмо с добрыми пожеланиями и напутствиями. Понимаю, что писал ему не один я. Тем дороже мне был его ответ, на который он нашел время. Память об этом удивительном человеке, и прекрасном писателе согревает меня.

Вениамина Александровича Каверина нет с нами уже много лет. Но его роман «Два капитана» живет, он относится к числу вечных книг, и я убежден, что Саня Григорьев позовет за собой еще многих молодых на Север, в Заполярье. И вообще туда, где трудно и где нужны смелые, настойчивые, благородные люди...

*Наталья ВОЛКОВА, директор Псковской
областной детской библиотеки им. В.А.Каверина,
заслуженный работник культуры РФ*

ЕГО ИМЕНИ

Столетие Вениамина Александровича Каверина – большой праздник для сотрудников Псковской областной детской библиотеки. Изучение творчества писателя-земляка, приобщение к чтению его произведений детей и подростков – одно из ведущих направлений нашей деятельности, наша жизнь.

Псковская областная детская библиотека – инициатор изучения жизни и творчества писателя В.А. Каверина, организатор ряда акций, направленных на сохранение и оптимизацию его наследия для новых поколений читателей. С 1990 года библиотека носит имя писателя.

С 1984 года библиотека переписывалась с Вениамином Александровичем. Мы получили в дар книги, страницы рукописей. В 1986 году В. Каверин приезжал в Псков на 200-летие школы №1, бывшей мужской гимназии, где он учился. Это был последний визит писателя в город детства и юности. Тогда, во время посещения нашей библиотеки, в книге почетных посетителей он оставил запись: «От души рад, что удалось побывать в вашей библиотеке. С первого взгляда видно, что она ведется разумно, и недаром дети и подростки моего родного города любят ее и ценят». В те же дни в библиотеке состоялась встреча писателя с авторами будущего памятника героям романа «Два капитана» – Сане Григорьеву и капитану Татаринovu. Молодые петербургские скульпторы Михаил Белов и Андрей Ананьев показали Вениамину Александровичу эскиз проекта, на котором Каверин оставил автограф: «Мне кажется, этот проект прекрасно передает содержание и нравственную цель моего романа “Два капитана”».

14 января 1988 года Каверин пишет письмо ректору Ленинградского института имени Репина П.Т. Фомину: «Не могу передать вам то глубокое чувство признательности, которое испытываю я, думая о том, что моя шестидесятилетняя упорная и, смею сказать, честная работа будет увековечена таким бесценным подарком, как памятник героям моего романа “Два капитана”».

Писателю не суждено было дожить до установки памятника. Его открытие состоялось в июле 1995 года и стало большим праздником для псковичей. Прежде всего, для автора идеи, бывшего директора библиотеки, заслуженного работника культуры РФ Михеевой Аллы Алексеевны, мастеров-отливщиков скульптур (рабочих Псковского машиностроительного завода), историков, краеведов, читателей и сотрудников библиотеки.

...Стремительно идущий вперед к совершенно ясной для него цели Саня Григорьев и романтичный, возвышенный, приподнятый на пьедес-

тал капитан Татаринов, очень похожий на знаменитого исследователя Севера О. Шмидта, ежедневно приветствуют жителей города, читателей нашей библиотеки.

Через год, в марте 1996 года, в библиотеке начал работу литературно-патриотический клуб «Два капитана», объединивший детей и взрослых: писателей, историков, краеведов, моряков и летчиков, полярных исследователей и ученых... На заседаниях клуба речь идет о чрезвычайно важном для современной молодежи: о Россини, ее истории, освоении Севера, о мужестве и благородстве, чести и достоинстве.

Новые друзья библиотеки приносили в дар уникальные предметы. Мы стали обладателями вещей, как бы иллюстрирующих страницы романа «Два капитана». Капитан 1 ранга Иванов В.В. подарил секстан, фрагмент полярной печки экспедиции Джексона с Земли Франца-Иосифа (именно туда, как мы помним, предполагал прийти в надежде встретить людей штурман Климов), глобус звездного неба. Военные летчики полярной авиации преподнесли в дар шлем летчика, штурвал самолета. Ученый – гляциолог, профессор, полярник Говоруха Л.Н. подарил фотографии Севера периода Отечественной войны, образцы минералов Антарктиды. Благодаря дружбе с экипажем подводной лодки «Псков» и ее командиром, капитаном 1 ранга Ковалевым В.А. у нас появились материалы о современном северном военно-морском флоте. Руководитель поисковой общественной организации «След “Пантеры”» Горбачев Н.А. принес в дар библиотеке предметы, имеющие отношение к Отечественной войне. После смерти писателя продолжалась переписка с его родственниками, от них в дар мы получили личные вещи Вениамина Александровича, книги, вещи, окружавшие Каверина в период работы.

Надо сказать, что идея создания музея в библиотеке зрела давно. В период подготовки к столетию писателя, летом 2001 года, было принято решение об открытии музея романа «Два капитана», разработана его концепция. Почему музея «романа»?

Кому как не библиотекарям, работающим с подростками, знать, как упал интерес к чтению художественной литературы у юных! Именно поэтому одним из главных направлений нашей работы должно стать возрождение культуры чтения как главной составляющей национальной культуры России – с одной стороны. С другой мы, взрослые, обязаны, если ратуем за духовное возрождение России, предоставить молодежи некие образцы героев, которые позволили бы формировать молодому человеку собственную модель поведения. Творчество В.А. Каверина обладает огромным потенциалом нравственного воздействия на молодежь в плане возрождения патриотических ценностей как составляющих российской национальной идеи. Образцом человека-патриота могут стать для молодежи как литературные персонажи романа В.А. Каверина «Два капитана», их реальные исторические прототипы, так и современные представители профессий, связанных с защитой Родины.

В чем феномен романа, задуманного автором как роман о современнике (современнике, живущем в 30-е годы XX века)? Благодаря этому удивительному тексту сформировались характеры поколения молодых людей 50-70-х годов. Но позже, в период девальвации всего и вся, в сложнейшие (с точки зрения определения «что такое хорошо, и что такое плохо») 80-90-е годы новые мальчишки и девчонки продолжали если не читать, то с упоением следить за событиями киноповествования о Сане Григорьеве. Мне кажется, что дело в точном совпадении фабулы произведения, строя его литературных образов с бесконечной верой в торжество справедливости. Подлость должна быть наказана – вот о чем мечтаются мальчишкам и девчонкам, очень рано, к сожалению, встречающимся сейчас с проявлениями предательства, бесчестности в реальной жизни. Может быть, именно поэтому так легко и радостно, как нечто давно ожидаемое воспринимается ими новая, музыкальная версия романа – мюзикл «Норд-Ост».

При разработке концепции музея были определены его целевые установки:

- Оптимизация интереса к чтению художественной литературы как к процессу, способствующему формированию личности, развитию творческого начала, познанию истории страны.

- Раскрытие процесса создания литературного произведения на примере романа «Два капитана».

- Организация коммуникативной среды, способствующей формированию нравственных идеалов у подрастающих поколений.

- Развитие интереса к литературному краеведению.

- Поддержка детского литературного творчества.

Обозначены и направления работы музея:

- Исследовательская деятельность по разысканию материалов, относящихся к периоду пребывания семьи Зильберов и В.А. Каверина в Пскове, к истории создания романа «Два капитана» (прообразы литературных героев, история освоения северных морских путей и т.д.).

- Обработка, изучение, хранение и введение в научный обиход полученных материалов.

- Проведение научно-практических конференций, семинаров, чтений.

- Создание базы данных на традиционных и нетрадиционных носителях информации.

- Разработка концепции создания и функционирования литературно-краеведческого музея в детской библиотеке, формирования коммуникативной среды, методики интерактивного общения с посетителями и апробирование нетрадиционных методов экскурсионной работы в библиотеке.

- Организация экскурсионного обслуживания жителей города и туристов и подготовка группы детей-экскурсоводов.

- Организация мастер-классов и встреч юных литераторов с писателями, деятелями культуры.

- Проведение конкурсов детского литературного творчества.

Создание Музея вошло в план мероприятий, проводимых к 100-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, и профинансировано Министерством культуры РФ и администрацией области.

Торжественное открытие состоялось 18 апреля. Под звуки детского духового оркестра первые посетители переступили порог музея и оказались в удивительном мире – мире Литературы, Творчества, Истории. Тематические блоки позволяют проследить и историю возникновения замысла романа, и его прообразы (исторические, географические, прообразы главных героев), и окунуться в атмосферу разных исторических периодов, имеющих отношение к повествованию (губернский Псков; далекий 1912 год, когда отправились в плавание Брусилов и Седов; Отечественная война), и увидеть многочисленные издания романа на языках народов мира. Но роман существует не только в виде книжного блока. Были экранизации, стоит перед библиотекой памятник литературным героям. Композитором Шантырем написана одноименная опера, а популярными авторами Иващенко и Васильевым – мюзикл. Роман в произведениях искусства – еще один раздел музея. На одном из кнехтов – большая сумка почтальона. В ней – литературные творческие работы детей области. Теперь они будут собираться здесь, и читатели библиотеки смогут прочитать первые литературные опыты своих ровесников. На стене – большая карта Севера. На ней «проложены» маршруты и Брусилова, и Седова, и капитана Татаринова. С помощью корабля и самолетика на магнитах можно самостоятельно совершить и эти походы, и другие (Дежнева, Русанова, других исследователей Севера). Экспонаты музея позволяют рассказать о современной российской авиации и военно-морском флоте: дивизии подводных лодок в Видяево, больших атомных подводных лодках «Псков», «Курск», летчиках полярной авиации. В день открытия музея летчики Островского авиационного учебного центра подарили бесценные экспонаты: материалы о выдающемся летчике Северного военно-морского флота Тимуре Апакидзе, трагически погибшем в 2001 году.

А в центре экспозиции – мачта, на которой развевается парус с так хорошо известным девизом: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Мы благодарны всем, кто помог нам в создании музея. Племяннику В. Каверина Юрию Давидовичу Зильберу, детям писателя – Наталье Вениаминовне и Николаю Вениаминовичу Кавериним, сотрудникам Псковского музея заповедника, Музея Арктики и Антарктики, псковским краеведам. Без их участия, поддержки, понимания многое из задуманного не удалось бы сделать.

У музея большие планы. Есть направления поиска дополнительных материалов. Будут дорабатываться методика экскурсионной работы, обновляться экспозиция. Но самое главное – музей посещаем!

Как не вспомнить слова В. Каверина, с которыми он обратился к псковским читателям в 1986 году, в дни Недели детской книги: «Дорогие мои земляки! Желаю вам побольше читать. У человека должны быть люби-

мые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает и которыми умеет пользоваться в жизни. Литература делает человека интеллигентным, развивает в нем чувство красоты и понимания жизни, раскрывает перед читателями сердца людей. На свете есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем любые телевизионные передачи. Желаю вам счастья, счастья, которое не падает с неба, а добывается с помощью труда, внимания и терпения...»

Очень хочется, чтобы посетители музея после завершения экскурсии проникались духом романтики и героизма, трепетного отношения к истории страны, ее литературе и культуре. И чтобы девиз Сани Григорьева стал побудительным мотивом их жизни, лакмусовой бумажкой для определения себя в таком сложном и непростом современном мире!

Псков

Натан ЛЕВИН, краевед

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ

Быть родиной знаменитого человека – большая честь для города. Вместе с тем, это ко многому обязывает его земляков. Поэтому в последнем докладе, завершающем юбилейные «Каверинские чтения», хочется оглянуться и оценить, что сделано в память о нём в его родном городе, и подумать, что ещё можно и должно предпринять для достойного почитания Каверина и его прославленных родственников.

За последние 13 лет после кончины Вениамина Александровича псковичи позаботились об увековечении их памяти. «Каверинские чтения» в Пскове стали традиционными. На бывшем здании мужской гимназии открыты мемориальные доски Вениамину Каверину и его старшему брату – известному учёному Льву Зильберу. Мемориальная доска установлена и на месте дома, в котором родился Каверин. В псковском гуманитарном лицее регулярно проводятся биологические чтения памяти Льва Зильбера. Областной детской библиотеке присвоено имя В.А. Каверина и перед ее зданием установлен скульптурный памятник литературным героям романа «Два капитана». В этой библиотеке работает литературно-патриотический клуб под тем же названием, а сейчас открыт уникальный музей этой книги.

Однако предстоит воплотить, не менее значительные идеи.

ПЕРВОЕ. Семья Зильберов находилась в Пскове с 1895 года три десятилетия, внесла заметный вклад в музыкальную и театральную жизнь города. В послевоенные годы Вениамин Александрович приезжал в Псков. Установились тесные дружественные связи псковичей с потомками Каверина и Зильберов. Все это достойно обстоятельного краеведческого исследования и публикации. Такое издание необходимо не только школьникам, литературоведам и библиографам, но и краеведам, экскурсоводам, всем почитателям

таланта Каверина. Эта краеведческая повесть уже пишется. Ее первые главы еженедельно печатаются в газете «Псковская губерния», экземпляры которой розданы гостям «Каверинских чтений». Для превращения газетного варианта в хорошо иллюстрированную книгу, уточнения отдельных деталей и фактов нужна помощь ныне здравствующих потомков Каверина и Зильберов. Те из них, кто присутствуют здесь на чтениях, обещают её оказать. Чтобы часть тиража этого издания попала в местные библиотеки и школы, требуется финансовая поддержка Администраций Пскова и области.

ВТОРОЕ. Произведения писателя должны быть широко доступны его землякам. Между тем, на прилавках псковских магазинов вообще нет даже самых популярных книг Каверина. Со времени издания последнего, восьмитомного собрания его сочинений прошли два десятилетия. Количество экземпляров, поступивших для подписчиков области, было ничтожно, и они достались только высокопоставленным лицам по особым спискам. К тому же творчество Каверина длилось семьдесят лет, и оно столь обширно, что не только издания последнего десятилетия его жизни, весьма плодотворного, но и многие крупные и небольшие его труды не вошли в это и предыдущее собрание сочинение 60-х годов, в послевоенные сборники. Нет сборника его интервью; не попали в восьмой том многие журнальные и газетные статьи. Так что многое недоступно и для интересующихся творчеством Каверина; и для местных профессиональных литературоведов. Не случайно почти полное отсутствие их печатных трудов, исследований на каверинские темы и даже докладов на чтениях. Сюда приезжают только литераторы и критики обеих столиц.

Отсюда вытекает необходимость нового, достаточно полного собрания сочинений Каверина. Эта мысль высказывалась ещё в марте 1997 года, незадолго до предыдущих «Каверинских чтений», на областной научно-практической конференции школьников, посвящённой памяти семьи Зильберов. Однако она, очевидно, не дошла до сведения Министерства культуры, и вряд ли теперь можно надеяться на такой государственный заказ для всей страны. Вместе с тем, приходится отметить, что псковские издательства не печатают книги Вениамина Каверина. И ранее в Пскове они никогда не выпускались. В этом отношении за псковичами большой долг перед Каверинным. Было бы прекрасно, если, выполняя его, псковичи возьмутся за создание фундаментального Собрания сочинений своего земляка. Городская и областная администрации ежегодно составляют списки местных изданий, финансируемых из их бюджетов. Они могли бы договориться издавать хотя бы по одному тому в год, привлекая для составления и редактирования творческие силы Москвы и Петербурга. Кроме того, если от имени местных властей широко прорекламировать предварительную подписку в области, а также через крупнейшие магазины подписных изданий обеих столиц, то можно собрать авансом немалые суммы.

ТРЕТЬЕ. Много лет в Пскове говорится о необходимости создания литературного музея. Вопрос ставится по-разному: то об открытии музея-квартиры Юрия Тынянова, то об отдельном помещении для широкого показа

сокровищ псковской книжности на основании богатых фондов древлехранилища музея-заповедника, то о постоянной выставке-экспозиции в музее, посвящённой не только Вениамину Каверину, но и всей семье Зильберов.

Решение проблемы до сих пор откладывалось из-за отсутствия достойного помещения. Устройство музея-квартиры Тынянова в маленьком домике на улице Воровского (д. 9) не позволит широко показать творчество других псковских литераторов, от Княжнина и Яхонтова до современников. К тому же сомнительна большая посещаемость отдельного и отдалённого от обычных туристских маршрутов музея. Из-за значительных затрат не видно начала работ по восстановлению особняка на углу Комсомольского переулка и улицы Свердлова, известного по фамилиям их прежних владельцев Масон-Журавлёвых и предполагавшегося под музей книги.

Сейчас более перспективным видится срочное завершение к 1100-летию первого упоминания о Пскове капитального ремонта законсервированного двухэтажного дома № 10 на улице Некрасова с заложенными кирпичом окнами. Здание расположено в нескольких шагах от музея-заповедника, сразу через улицу. В него упирается Комсомольский переулок.

В процессе исследований по выявлению мест жизни семьи Зильберов в Пскове установлено, что с 1899 года несколько лет они жили в доме генерала Макарова на Губернаторской улице. В советское время дом получил № 10, а улица названа Некрасовской. Результаты поисков опубликованы в газете «Псковская губерния» от 21-27 марта с. г. (стр. 14), а рассказ об истории этих мест напечатан в № 15 журнала «Псков» за 2001 год («Дворец Марины Мнишк»).

После ремонта здесь можно разместить постоянную выставку, посвящённую не только семье Зильберов и Каверину, но и другим псковским литераторам. В перспективе это подразделение музея-заповедника стало бы первым шагом к музеефикации всей Романовой горки, так долго ожидающей полной реставрации. По проекту соседний «дворец Марины Мнишек» должен стать Домом реставраторов с экспозицией, рассказывающей о псковских строителях, архитекторах. Музей нуждается и в помещении для постоянной выставки в память о краеведах и о деятельности Псковского археологического общества.

ЧЕТВЕРТОЕ. Принятая год назад Администрацией города «Концепция упорядочения названий улиц и других городских топонимов в г. Пскове» предусматривает постепенное освобождение псковских улиц *«от названий, не связанных непосредственно с историей Пскова и псковского края. Каждое название должно нести информацию о местности, истории города или людей, составивших славу Псковской земли».*

Вполне правомерно при этом решить вопрос о присвоении одной из улиц имени Вениамина Каверина. (Даже в Мурманске, где писатель находился во время Отечественной войны, есть такая улица.) У нас часто повторяют справедливую фразу, вошедшую в брошюру «Герои и судьбы», только что выпущенную Комитетом по культуре Псковской области и областной детской библиотекой имени Каверина к этому столетнему юбилею: *«В ис-*

тории Пскова не было писателя, столь прославившего родной город в своих произведениях, как Каверин».

Конечно, речь должна идти об улице, находящейся не где-нибудь на окраине города среди новостроек, а в местах, связанных с жизнью писателя. Тем самым улица Каверина стала бы естественной частью каждой экскурсии по истории города и тем более экскурсии по литературным местам или конкретно по каверинским местам Пскова.

При упорядочении названий улиц в историческом центре Пскова неизбежно встанет вопрос о замене названий улиц Некрасова и Гоголя, появившихся к их юбилейным датам, но ничем не связанных с историей Пскова. Одна из этих улиц могла бы получить имя Каверина, так как на них ему довелось жить. Но более перспективным было бы присвоение его имени при смене названия Профсоюзной улицы, не созвучной с историей древнего города. Рядом с этой улицей находился дом, в котором родился Каверин. На этой улице, на перекрестке с бывшей Сергиевской (Октябрьским проспектом), в исчезнувшем доме Гладкова с 1900 по 1910 год находился музыкальный магазин его родителей. На ней же, на углу Великолуцкой (Советской), в доме Городского банка этот магазин размещался с 1910 года. На другом углу этой улицы мать писателя в 1920-24 годах работала в книжном магазине. До революции Профсоюзная улица называлась Плоской, что вызывало недоумение, так как рельеф местности с веками очень изменился из-за повышения уровня главной – Великой улицы, век за веком получавшей новые настилы. Так что спуск по улице к реке стал не плоским, а крутым.

Таким образом, псковичам предстоит немалая работа, чтобы претворить в жизнь имеющиеся возможности по увековечению памяти Каверина и тем самым по прославлению своего города.

Псков

МУЗЕЮ – БЫТЬ?

Древний Псков – родина В.А. Каверина. Здесь он жил в детские и юношеские годы, учился в гимназии, встретился и на всю жизнь сдружился с Юрием Тьяньновым, который стал для него «вторым университетом». Псков узнается а городах Энск и Лопухин, где разворачивается действие начальных глав романа «Два капитана» и трилогии «Открытая книга». К Пскову сюжетно привязаны отдельные сцены и эпизоды других романов и повестей. О Пскове, городе детства и юности, повествует первая книга автобиографической трилогии «Освещенные окна»...

В преддверии 100-летия со дня рождения В. Каверина и 100-летия Пскова Конгресс интеллигенции Российской Федерации и Союз писателей Москвы по инициативе «каверинского» оргкомитета обратились с коллективным письмом к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации В. И. Матвиенко. Письмо, датированное 20 февраля с.г., содер-

жало просьбу вернуться к рассмотрению затянувшегося вопроса о создании в Пскове литературного музея им. Юрия Тынянова. «Уважаемая Валентина Ивановна! – писал С. Филатов в сопроводительной записке от 6 марта. – Направляю Вам письмо членов организационного комитета по празднованию 100-летия В. Каверина. Прошу Вашего содействия в разрешении проблемы, которая излагается в письме».

12 марта В. И. Матвиенко направила письмо в Министерство культуры РФ и администрацию Псковской области с поручением рассмотреть «коллективное обращение деятелей культуры» по существу вопроса и проинформировать о результатах «авторов обращения в Правительство Российской Федерации». Ответ администрации Псковской области поступил 18 апреля. Решение поднятого вопроса взято на контроль Департаментом культуры, образования и науки Правительства РФ, Министерством культуры РФ, Конгрессом интеллигенции России.

Вице-премьеру Правительства РФ,
председателю Государственной комиссии
по празднованию 100-летия Пскова
МАТВИЕНКО В. И.

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна!

Исполком Конгресса интеллигенции РФ, секретариат Союза писателей Москвы, комиссия по наследию Юрия Тынянова, оргкомитет по подготовке к 100-летию со дня рождения В. Каверина, представители литературной общественности, а также наследники и родственники В. Каверина просят Вас в связи с предстоящим общероссийским празднованием 100-летия города Пскова рассмотреть и решить затянувшийся вопрос о создании в Пскове Литературного музея имени Юрия Тынянова.

Предыстория этого вопроса, не решаемого в течение вот уже почти 15 лет, обстоятельно изложена в приложении к настоящему письму. Приложение содержит также обоснование концепции будущего музея и описание материалов, в том числе подаренных В. Кавериним, которые могли бы положить начало музейным фондам и экспозициям.

С глубоким уважением

Председатель Исполкома Конгресса интеллигенции РФ

С. А. Филатов

Первый секретарь Союза писателей Москвы **Р.Ф. Казакова**

Председатель Комиссии по литературному наследию Юрия Тынянова

М.О. Чудакова

Секретарь Союза писателей Москвы, координатор рабочей группы по подготовке к 100-летию со дня рождения В. Каверина **В.Д. Оскоцкий**
Псковский краевед, журналист **Т.В. Вересова**

20 февраля 2002 г., Москва

Председателю Исполкома
Конгресса интеллигенции РФ
Филатову С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

В комплексном плане мероприятий по подготовке празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи создание Литературного музея имени Юрия Тынянова действительно не значится, планируется открытие Музея книги (Комсомольский пр., 6), в котором хранение должно сочетаться с экспонированием книжного собрания. В его основе будут собрания древлехранилища музея-заповедника. Это свыше 100 фондов писателей и поэтов, связанных с Псковской землей, свыше 200 тысяч рукописей, документов, рукописных и старопечатных книг, негативов и фотографий, которые будут представлены по хронологическому и проблемному принципу.

Вместе с тем Ваше обращение в Правительство Российской Федерации побудило нас еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса.

На специальном расширенном заседании ученого Совета Псковского объединенного музея-заповедника была проанализирована его история. Впервые идея создания музея Ю. Тынянова прозвучала в 1988 году при разработке концепции музея-заповедника. Она опиралась не столько на фондовые, материально-технические и финансовые возможности, сколько на желание максимально расширить музейную сеть в городе. С этой целью администрация музея-заповедника обратилась в горисполком, который в марте 1989 года принимает решение «О создании в городе Пскове литературного музея». Оно предусматривало отселение жильцов из дома №9 по ул. Воровского и проведение капитального ремонта. К сожалению, в течение пяти последующих лет ничего из вышеназванного не было сделано. В апреле 1993 года администрация города Пскова вновь принимает аналогичное распоряжение, которое также, уже в силу новых социально-экономических реалий, не было реализовано. Параллельно с этим с 1991 года продолжалась работа по подготовке Музея книги. Уже освоено около 10 млн. рублей на реконструкцию и приспособление под эти цели дома Массон. В 2003 году Министерство культуры РФ предполагает выделить средства на его завершение. Естественно, что материалы, связанные с именами Юрия Тынянова и Вениамина Каверина займут в нем достойное место.

С уважением,
заместитель Главы Администрации Псковской области
Ю.А. Демьяненко